

Поколение XYZ

МАНУЭЛА ГРЕТКОВСКАЯ



МЫ ЗДЕСЬ ЭМИГРАНТЫ
ПАРИЖСКОЕ ТАРО

Париж – это смешно!

Annotation

Париж. Бесшабашная голодная богема, нищие эмигранты...
Студия в мансарде, под самой крышей. Романтика и гротеск, эротика и юмор, лабиринт судеб и ситуаций, мистика колоды таро...

- [Мануэла Гретковская](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [18](#)

- [19](#)

- [20](#)

- [21](#)

- [22](#)

- [23](#)

- [24](#)

- [25](#)

- [26](#)

- [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
-

Мануэла Гретковская

Парижское таро

Моей собаке

* * *

В Амстердам я приехала, чтобы увидеть Рембрандта. Картины его рассеяны по крупнейшим музеям мира, словно разъятые мощи святого, но дух художника по-прежнему обитает в Амстердаме. Итак, я приехала к Рембрандту. В его доме теперь музей графики. Ни мебели той эпохи, ни хотя бы покрытого патиной кувшина, как будто сошедшего с натюрмортов семнадцатого века. Лишь несколько станков для печатания гравюр осталось в пустом доме – пустом доме банкрота, распродавшего все, что можно было вынести, что имело хоть какую-то ценность. Вряд ли Рембрандт оплакивал дорогие вещи, драпировки, серебро, все то, что окружало их с Саскией, чему они радовались вместе. Ушла Саския – так пусть уйдут и свидетели счастья. Останется лишь то, что необходимо для работы, для гравировки света и времени, оставшегося до...

В Государственном музее выставлены «Ночной дозор», «Урок анатомии» и «Еврейская невеста». Я начала осмотр с еврейской невесты – у нее потрясающее платье. Не нарисованное, а вылепленное. Рельефные, покрытые лаком мазки словно образуют жесткие складки красной парчи. Мне захотелось взглянуть поближе. Перешагнув через нарисованную на полу желтую линию, я услышала на голландском, французском и английском языках: «Запрещено». Под пристальным взглядом зрителя послушно вернулась на место. Не смея больше нарушать правила, я с риском для жизни наклонилась, чтобы приблизиться к картине хотя бы на несколько сантиметров. Вновь шипение зрителя: «Запрещено». За моей спиной столпились экскурсанты. Немецкий гид объяснял:

– Перед вами Рембрандт ван Рейн, живопись и графику которого мы уже видели в Британском музее и в Лувре. Его звали Рембрандт,

«ван Рейн» означает «с Рейна». Перед вами картина «Еврейская невеста». Она написана предположительно в 1655 году, размер сто двадцать с половиной на сто шестьдесят с половиной сантиметров. На ней изображен молодой мужчина в расшитом золотом кафтане, за руку он держит девушку в красном платье. Невеста с улыбкой смотрит прямо перед собой, вьющиеся черные волосы, обрамляющие овал лица, ниспадают на обнаженные плечи.

Зачем, стоя перед картиной, рассказывать, что она изображает? Я обернулась: за мной стояли человек пятнадцать в черных очках.

– Сцена, вероятно, подсказана художнику Книгой Бытия – глава 26, стих 8, другими словами, это Исаак и Ревекка, – продолжал экскурсовод. – Возможно также, что Рембрандт изобразил здесь свою невестку, Магдалену ван Лоо, и сына Титуса. Обратите также внимание на фактуру полотна.

Смотритель дал понять, что хочет поговорить с гидом слепых. Они отошли на несколько шагов. На мгновение я заколебалась – не воспользоваться ли ситуацией и не переступить ли магическую желтую линию. Однако слепые меня опередили. Они принялись трогать картину. Сначала осторожно, кончиками пальцев, повторяя «Рембрандт, Рембрандт», словно желая убедиться, что полотно существует на самом деле. В следующее мгновение они уже водили по нему всей ладонью, затем один вытянул губы, словно для поцелуя, и начал лизать картину. После чего уступил место другим, которые так же безошибочно обводили языком контуры фигур среди рембрандтовских светотеней.

– Какова на вкус еврейская невеста? – спросила я слепого любителя живописи.

– Сладковатая, фон чуть горчит, – тоном знатока ответил тот.

– Вы все картины так... осматриваете?

– Не всегда удается отвлечь зрителя хотя бы на пару секунд.

– А что вам больше всего... – я замялась, подбирая слово, – нравится?

– Вы хотели сказать «по вкусу», – рассмеялся он, постукивая белой тросточкой по сверкающим лакированным ботинкам. – Я предпочитаю старых мастеров. Их картины сохранили вкус эпохи, к тому же краски тогда делали из натуральных пигментов, что менее вредно. Современная живопись – сплошная химия, какого-нибудь

Поллока страшно в рот взять, того и гляди останешься инвалидом. Вы видели «Еву» Кранаха? Это мой любимый немецкий художник. У него женщины – как живые. У Евы солоноватое тело, небольшая, терпкая на вкус грудь. Вы уж простите за подобные детали, но искусство – моя страсть. Вчера я целый день провел в Лувре.

– Огромный музей, правда? – сказала я, чтобы поддержать беседу.

– Да, но меня он разочаровал, особенно скульптура. Знаете, у Венеры Милосской на попе царапины.

* * *

17.00 – Жан, урок польского; 18.00 – обед в Лез Аль; 20.00 – подготовить доклад на пятницу. Телефон звонит... пускай. Или не туда попали, или что-то важное, а на важное у меня уже нет времени. Правда, это может быть и Жан – забыл, в каком кафе мы встречаемся.

– Алло?

– Жан.

– Я так и думала, в чем дело?

Недоуменная пауза.

– Qu'-est-ce qui c'est passé?^[1]

– Приходи.

– У нас rendez-vous^[2] в пять. Я уже выхожу.

– Встретимся напротивмо ипочки.

– Жан, я не понимаю, что за улица Ипочки?

– Ипочки не улица. Когда делают любовь, то говорят «напротив мои почки».

– А-а-а... Послушай, Жан, – я перешла на педагогический тон, – «Faire l'amour» нельзя перевести как «делать любовь», у нас говорят «заниматься любовью». «Делать» можно детей или суп. Кроме того, в такой... ну, в общем, в такой ситуации не говорят «Встретимся напротив моих почек». Нельзя переводить фразеологический оборот слово за словом, не думая. Если тебе хочется поболтать, то о любви уж лучше по-французски.

– Нет. Твой язык мне лучше по вкусу: приходи. – Мой нетерпеливый ученик кладет трубку.

Жан – типичный персонаж «Нью эйдж». У него много времени, а денег еще больше, так что он решил развивать интеллект, изучая иностранные языки. Кроме того, он работает над своим подсознанием и надсознанием, а также генерирует альфа-волны. Согласно доктрине «Нью эйдж», трактующей человеческий организм как единое психофизическое целое, он, кроме того, совершенствует свое тело. Последнему предписаны сдержанность, немного аскезы и немного удовольствия, ведь главный принцип «Нью эйдж» – принять самого себя, полюбить собственное «Я». Если «Я», младший брат, дремлющий в нашем подсознании, отличается озорным нравом – не следует ему мешать. Жан озорничает, не нарушая основы «Нью эйдж»: «faire l'amour» способствует развитию его личности и позволяет прикоснуться к Природе. Соприкосновение это он осуществляет в обществе двух прелестных девушек, которые столь же увлеченно интегрируют собственное «Я» с природным. Была, как будто, и третья, но ее поиски Истины вывели на мистические пути суфийских орденов, гарантирующих истинную эзотерическую инициацию. Дабы войти в число посвященных, она поменяла пол и приняла ислам, а с неверными друзьями порвала.

* * *

В Ле Мазе мне надо к пяти. Десять минут на то, чтобы пробежать площади, перекрестки и узкие улочки Латинского квартала. В метро давка, на улице толпы. Я налетаю на человека, сгибающегося под тяжестью креста: Христос, честное слово, Христос. Однако сей крест – не слишком тяжелое бремя, он легко скользит по тротуару благодаря велосипедному колесу, скрытно вмонтированному в подставку. Псевдо-Христос в модных темных очках раздает листовки с описанием его паломничества с крестом по Европе – протяженностью в 10 000 километров. Кто-то из доброжелателей советует:

– Господи, на Голгофу удобнее по Лионской автостраде!

В Ле Мазе я влетаю ровно в пять. Нет сил ни стоять, ни сидеть. Больше всего хочется лечь где-нибудь в уголке... интересно, сколько может стоить кофе лежа? За стойкой бара – четыре франка, за столиком – семь, стало быть, на полу – десять. Хозяин, заметив, как я

покачиваюсь над остывающим кофе, берет мою чашку, бросает в нее сахар и, произнеся заклинание «Глюкоза!», размешивает темную жидкость липкой ложечкой. Рядом парень в рваных джинсах пытается консервным ножом открыть плеер. Закрываю глаза: я устала быть. Быть снова здесь, в Ле Мазе, быть там, в Польше, впервые за два года. Я чувствовала себя не туристкой, гораздо хуже: эмигрантом, который заново адаптируется к окружающему миру, тщетно и нехотя пытаюсь почувствовать себя дома.

В поезде Лодзь – Торунь, согретом запахом пива и плесневелых булок, ведут серьезную беседу учитель и домохозяйка. Они пытаются понять, что имел в виду ксендз Тишнер: в своем телевизионном выступлении после первого тура президентских выборов он упомянул о печати homo sovieticus,^[3] лежащей на каждом, кто жил при коммунизме.

– Скажите, – обращается к учителю домохозяйка, – этот хо... хомо... хомосексуалист – это кто имеется в виду, Валенса или Тыминьский?

Глаза и так закрыты, можно лишь еще плотнее сжать веки, чтобы отгородиться от кофе, разлитого вина, разговоров.

Много лет назад ты тоже закрываешь глаза – говоришь что-то сам себе – и вытягиваешь первую карту таро: Фокусник, Маг.

– Видишь, соплячка, я покажу тебе, что такое жизнь. Нет ничего проще. Сначала ты войдешь в водную стихию – доверишься воде, но при этом будешь властвовать над ней.

Ты стоишь с улыбкой у края бассейна, где я тону, захлебываясь и пытаюсь ухватиться за поверхность воды.

– Что бы ты делал, если бы я утонула?

– Пошел бы на похороны. – Ты не даешь мне уцепиться за лесенку. – Тебе надо научиться плавать, иначе мы не сможем перейти к стихии огня.

– Ты заставишь меня прыгать, как собачку, через горящие обручи?

– Пламя будет внутри тебя. Ты почувствуешь его во рту, в груди. Ну-ну, сразу глаза загорелись... любовью мы заниматься не будем, ты еще сопливая девчонка. Я не хочу превращать тебя в поблядушку, у тебя и так для этого все задатки, поэтому ты должна познакомиться со стихией огня.

И ты вновь бросаешь меня в бассейн. Сквозь витраж воды мне не видны ни твоя улыбка, ни светлая косичка. Я узнаю тебя по белой индийской рубашке и черному пиджаку. Каким чудом на тебе всегда чистая одежда, если ты ночуешь в подвалах, в коридорах, на вокзалах? Твоего любимого вокзала, Лодзи Калишской, с широкой царской лестницей и парой дырявых глобусов, наверное, уже нет на свете. Сначала сломали вокзальный бар, где крысы бегали как у себя дома. Однажды ты пришел ко мне в лицей и вызвал с урока: прикладывая дохлую вокзальную крысу к осыпающейся штукатурке, ты хотел доказать, что дома на Балутах^[4] крысиного цвета. Меня вырвало, а ты, расковыривая палочкой остатки пищи, сказал, что теперь дома на Балутах приобрели еще более крысиный цвет.

Терпеливый в наставлениях о характере неба и земли, ты лишь раз взорвался – когда я принесла тебе пакет с едой.

– Что ты себе воображаешь? Что будешь меня подкармливать, словно гориллу в зоопарке? Барышня из приличной семьи поделилась ленчем с бродягой, подумать только, какое милосердие... Идиотка! Я сыт своим голодом. Сыт, понимаешь?

Ты не читал проповедей. Когда я жаловалась на то, что мир жесток, ты повторял:

– Нет плохих людей, есть глупые, но они – хуже всего.

И наверное, по глупости ты закрылся в вокзальном сортире и ввел себе в вену лизол. Должно быть, это было больно – ведь чтобы выпустить яд, пришлось рассечь пах. Не знаю, жив ли ты. Однажды я спросила, можно ли жить с лизолом в крови. Анка, постоянно занятая переездами за Матеушем из больниц в санатории, тоже не знала. Ты привел меня к ним через типичный балутский дворик, окруженный угольными сараями и крольчатниками. Мы подошли к подвальному этажу с покосившейся табличкой «Чесельская, 15», и ты втолкнул меня в темноту, замкнутую горой мелкого угля и гнилой картошки. Ты нашел проход, постучал в окно. Оно открылось, и изнутри кто-то нетерпеливо проговорил:

– Входите скорее, холодно!

По ту сторону подоконника лежал коврик для ног, значит, окно здесь заменяло дверь.

– Матеуш пишет кандидатскую по логике, – сказал ты. – И будет тебя, соплячку, обучать философии. Ладно, Матеуш?

Сидевший на полу лохматый парень надел очки в металлической оправе, закрыл глаза и изрек:

– Матеуш произносит звук, подтверждающий смысл вопроса.

Комната явно состояла из двух частей: топчан, прогибающаяся под книгами полка и бесконечные залежи испещренных каракулями тетрадей принадлежали Матеушу. Анка занимала пространство сияющего кафеля кухни и большой плиты с конфорками, рядом с которой лежали латунные кочерги.

Занятия философией начались с зазубривания наизусть «Размышлений» Марка Аврелия:

– «От деда моего Вера – добронравие и негневливость...»,^[5] – декламировала я.

– Вот-вот, – прервал меня Матеуш. – Любой онтологический спор можно разрешить одной этой фразой: «От деда моего...»

Анка доводила белизну кафеля до совершенства или склонялась над кроваво-красным гобеленом – она ткала его уже которую неделю. Уроки философии закончились с отъездом Матеуша в санаторий. Окно Анка не открывала, лишь махала рукой через стекло: мол, еще не вернулся. Мне надоело смотреть на протестующую ладонь в Анкином окне. Для разнообразия я отыскала вход в их квартиру. Самая обыкновенная крепкая дверь – как выразился бы Матеуш, своей материей наполняющая форму двери. Вместо таблички с фамилией масляной краской написано «ИН 10.9». Даже звонок работал. Но открывать Анка не пожелала.

– Войди в окно.

– Но мне хочется через дверь, – капризничала я.

– Дверь забита гвоздями, не видишь, что ли? – разозлилась она.

Я влезла в окно и старательно вытерла туфли о подоконник.

– Анка, что означает надпись на двери: «ИН 10.9»?

– «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется». Евангелие от Иоанна 10.9. – Анка скрылась за гобеленом.

– Понятно, но почему вы не разрешаете ходить через нее?

– Матеуш говорит, что святому и закрытая дверь не преграда, а грешникам нечего соваться во врата и двери Христовы.

– Если Матеуш и сейчас так говорит, то санаторий он покинет не скоро, – сделала я логический вывод. – Он последняя карта таро.

– Матеуш не сумасшедший, – спокойно возразила Анка и вынула из-под табуретки толстую тетрадь. – Вот смотри, это его «Книга идей и явлений», – протянула она мне рукопись.

На первой странице «Книги» было содержание: с. 1 – 25 – идеи, с. 25–50 – инструкции, с. 50–75 – явления, с. 75 – 100 – неизвестно что.

– Сумасшедшему такого не выдумать, – убеждала меня Анка. – Открой шестидесятую страницу.

– А кто говорит, что Матеуш сумасшедший? По-арабски слово «безумец» означает, кажется, еще и «святой», – успокаивала я ее, листая книгу. – Страница шестидесятая: «Если Земля круглая, то как долго следует идти вперед, чтобы увидеть собственную спину?»

– Открой девятнадцатую, – торопила Анка.

– Вот, страница девятнадцатая... – Я развернула старательно вклеенную в тетрадь схему масштабом 1:20 под названием «Как размножить балерину». На рисунке была изображена большая бритва, на острие которой балерина садилась на шпагат. Бритва рассекала балерину на двух балерин, которые затем делились на четырех, и так далее. Под картинкой зачеркнутая красным подпись: «Вопрос – следует ли изобретать все более длинную бритву? «За» – ускорение процесса получения балерин. «Против» – издержки. Вывод – согласовать дату премьеры с директором оперного театра».

– Это пока только замысел, – сказала Анка, забирая у меня книгу, – на самом деле таким образом можно производить, например, гидр.

– Конечно, – согласилась я.

– Кроме технических идей, у Матеуша была идея в стиле барокко. Страница девяностая, название: «Любовь в XVII веке до гробовой доски». – Анка начала цитировать по памяти. – «Вступление: если свет точит мрамор, какова же сила его воздействия на хрупкую душу – отсюда игра светотени в искусстве барокко. Действие: на катафалке усыпанное цветами тело девушки. Нам видно только ее бледное лицо. В комнате почти полный мрак, лишь от мертвого лица исходит рембрандтовский свет. Появляется мужчина в монашеском облачении, капюшон опущен на глаза. Смотрит на девушку – ему кажется, что она жива, дыхание колеблет цветы. Монах подходит к катафалку, руками касается плеч покойницы, склоняется к ее губам, чтобы запечатлеть на них поцелуй. В следующую секунду он уже вырывается, пытаюсь

высвободить ладони из цветов, в которых кишат черви. Руки монаха срастаются с мертвым телом. Тлен пожирает его, крик замирает в разлагающемся горле. Мораль: любовь не имеет морали», – вдохновенно закончила Анка и поглядела на меня, словно ожидая диагноза.

– За что забрали Матеуша?

– За обед. Я хотела налить ему суп, борщ. А Матеуш отодвинул половник, вынул из кармана горсть таблеток и бросил в тарелку. Разные – цветные, белые, реланиум, антибиотики, я не разбираюсь в лекарствах. Залил их корвалолом и стал кричать, что раз Бог все видит, то пусть посмотрит в последний раз. Одни психиатры уверяют Матеуша, что Бога нет, другие – что не стоит понимать буквально догматы веры. Ни одному врачу не удалось найти логический аргумент – тот единственный, который излечит Матеуша.

Прошло уже несколько лет, Матеуш съел суп и второе. Мне не хочется есть, я устала. Стою, облокотившись о стойку, в мои волосы проникает аромат кофе, вонь окурков. Если бы вместо крови наполнить мои вены горячим кофе...

– Не спи, не спи стоя, – потряс меня Жан за плечо. – Я опоздал маленькую четверть часа. – Он поцеловал меня, оцарапав свитером из натуральной шерсти. – Сегодня не будет урока польского, ты познакомишься с прекрасной женщиной. Три кофе и вино, – распорядился мой ученик.

– Послушай, je m'en fous de^[6] твои уроки. У меня есть сорок пять минут. Выучишь ты что-нибудь или нет, плати сотню.

– Не волнуйся, вот тебе деньги и пошли – я представлю тебя Габриэль, она пишет.

– Грамотная, стало быть.

– Габриэль? Классическое образование: греческий, латынь, в совершенстве немецкий и английский. Ей уже за семьдесят, но она продолжает писать, последняя ее книга – о некрофилии. Просто бестселлер.

Мадам Габриэль Виттоп скорее напоминала мужчину в расцвете сил. Черные, коротко стриженные волосы, свободный пиджак. В пользу ее женственности говорили яркий макияж и огромные клипсы. Жан взирал на нее с обожанием. Мадам Виттоп повествовала о

крайних проявлениях любви, об усталости бытия, о своей подруге, для которой самым волнующим переживанием в жизни стала мастурбация в морге. Подруга уже умерла. Смерть есть ритуал. Габриэль тяжело пережила кончину отца, а также гибель друга – его убили гитлеровцы, – но по-настоящему ее потрясла только смерть собаки.

– Габриэль, как ты относишься к зоофилии? – поинтересовался Жан, усмотрев в трауре по собаке проявление истинных чувств.

– Если это доставляет животному удовольствие, почему бы и нет, но я знаю по собственному опыту, что обычно для животных это неприятно.

Жан болтал с мадам Виттоп, а я просматривала «Некрофилию», изданную Раше. После нескольких страниц откровенных описаний меня замутило.

– Не хотелось бы мне оказаться на месте вашей любовницы, – заметила я, возвращая ей книгу.

– Женщины меня не интересуют, – заверила Габриэль. – Мир женщин прекрасен, но скучен. Они подчиняются лишь инстинкту. Поэтому мужчина может передать женщине семя со словами, что любит ее, – и она его понимает, поскольку в этот момент оба они движимы инстинктом. Однако передать этим прелестным идиоткам хотя бы зародыш мысли практически невозможно. Мозг женщины никак не связан с ее эрогенными зонами.

Следовало как-то прореагировать, но когда так устаешь, то перестаешь быть мужчиной или женщиной, ты уже просто измученный человек. Впрочем, даже если в моем мозгу и произошли бы весьма замедленные мыслительные реакции и если бы они и проявились слюноотделением возмущения, это не имело бы никакого смысла: Габриэль как раз сменила тему разговора.

– Что за девушка разговаривает с Жаном?

К Жану – уж явно не к нам – подседа Шарлотта, одна из его подружек. Мы познакомились на какой-то вечеринке, но вряд ли она меня запомнила, поскольку была пьяна в стельку.

– Эта исхудавшая блондинка с черными кругами под глазами – одна из двух официальных любовниц Жана, – прошептала я Габриэли.

– Она не худая, я бы скорее сказала – эфемерная и хищная, – оценила та Шарлотту.

– Хищная, как пулярка. Истерия самки и вульгарный невроз, – выдала я краткий психологический портрет Шарлотты.

– Чем она занимается? – продолжала допрос Габриэль.

– Занимается? Это не в ее стиле. Шарлотта возбуждает, возбуждает своим беспомощным творчеством, второсортной эзотерикой – она, видите ли, пишет книгу о таро. Во Францию вернулась перед выпускными школьными экзаменами, отец француз, мать полька.

Шарлотта перестала нашептывать Жану на ухо сладкие глупости. Поглаживая его ладонь, она обернулась к нам.

– Что у тебя с Жаном? – деловито спросила она меня.

Я хотела ответить: «Сто франков в неделю», – но тут вдруг Шарлотта усмотрела несуществующие узы между мной и Габриэлью.

– Слушай, – почти зашипела она от сдерживаемой ярости, – в нашей компании есть одно правило: никаких лесбиянок или педиков. Жан спит с Вероник, но ее приятель не гомосексуалист. Мой муж тоже, да и бой-френд его любовницы, насколько мне известно, мальчиками не интересуется. Ты поняла? – Шарлотта тряхнула головой в мою сторону, так что искусно «растрепанная» прическа скрыла лицо. – СПИД – не очень-то приятная болезнь, ясно?

– Успокойся, мы вместе учим польский, – успокаивал ее Жан. – Не сжимай так судорожно кулаки, ты блокируешь энергию. Расслабься, положишься на интуицию, она мудрее разума.

– Еще одно слово об интуиции и энергии, и я врежу тебе по лбу бутылкой. – Шарлотта, похоже, не шутила, так что Жан напрасно старался со своими энергетическими волнами. Он смотрел на нее, полностью, казалось, сконцентрированный в бесконечных точках своих зрачков.

– С меня хватит, ясно? Вам ясно? – Шарлотта решила поделиться своими откровениями с нами обеими. – Вчера у меня был день рождения, я решила отпраздновать его с Мишелем, моим приятелем по тем временам, когда мы вместе хипповали. Мы прекрасно понимаем друг друга, настроены на одну волну. Поужинали в китайском ресторане, пошли к нему – жена уехала куда-то в провинцию. Легли в украшенной пентаграммами и сатанинскими печатями спальне. Мишель увлекается эзотерическими знаниями и черной магией, иначе говоря, светом Об, дополняющим мои изыскания в Ор. Мы проболтали

полночи, ощущая, как постепенно сливаемся в единое целое. И совсем уже было слились, когда ему вдруг вспомнилась супруга. В постели стало тесно. Сначала любимая жена, потом дети, которых пока нет, но которых может родить Мишелю только жена – женщина его жизни. К рассвету дело, пожалуй, дошло бы до внуков и правнуков. Мишель счел, что отвратительно себя чувствует, и он предложил мне то, чем могут одарить друг друга лишь идентичные создания. Жена ему не идентична, их объединяет принцип *coegsistentia oppositorum*.^[7] Мишель хотел передать непосредственно из своего ануса в мой лишенную энергетики, переваренную материю. Я должна была вобрать ее в себя, словно свечку, принять последнюю частицу энергии и удалить ее после растворения, добившись эффекта, подобного Черной фазе алхимического процесса. Однако ничего не вышло – ни из идеи, ни из Мишеля. Уже засыпая, я почувствовала, что он начинает совокупляться – не со мной, а с моим анусом. Естественно, я не могла на это пойти, ведь содомия – грех.

При слове «грех» Габриэль оживилась. Старческой ладонью она ободряюще похлопала рыдающую Шарлотту по гибкой спине:

– Деточка, только некрофилия – победа над смертью.

– Ханжи, – принялась плакаться Шарлотта. – Трусы, подлецы, лелеют дома теплые мещанские п..., а потом для поправки имиджа бросаются в андерграунд, сатанизм, магию. Клоуны, вырядившиеся чернокнижниками, всё под соусом серьезности и недоговоренности, ведь достаточно хоть одну мысль довести до конца, как немедленно раскроется весь ее глубочайший идиотизм.

– Так-так, очень интересно. – Габриэль вынула блокнот. – Любовь ради любви, то есть любовь чистая, не запятнанная зачатием, есть содомия. Чистая любовь... Чистое искусство, искусство ради искусства, следовательно, также содомия, только интеллектуальная. И в самом деле – Оскар Уайльд был содомитом.

– Дорогая, попробуй осознать, что... – принялся уговаривать любовницу Жан, поглаживая ее дрожащие руки.

– Заткнись! Когда я осознаю, что воздух – это газ, тут же начинаю задыхаться.

Шарлотта была безутешна. Помочь мог только продуманный экспромт.

– Ты родилась под знаком огня. – Я заглянула ей в глаза.

– Точно, откуда ты знаешь?

– Ты вся горишь. – Я попыталась под столиком положить ей руку на колено. – Я родилась под знаком воздуха. Огонь невозможен без воздуха, воздух же в огне сгорает, – продолжала я почти тоном искусительницы, – мы нужны друг другу, Шарлотта, ты не можешь не чувствовать этого. – Я откинула с ее лица прядь. – У тебя красивые глаза, не ярмарочно голубые, как у большинства блондинок, а искристо-серые, словно Природа не посмела нарушить их сияние красками.

– Не валяй дурака, ты ведь не бисексуалка. – Жан пытался отвлечь меня от внимавшей каждому слову девушки.

– А почему бы и нет? Потому что я учу тебя польскому? Наши сорок пять минут уже закончились, с твоего разрешения я ухожу с Шарлоттой.

– А я? – жалобно удивился Жан.

– А ты... ты пойдешь с трупом. – Я указала пальцем на заскучавшую Габриэль, листавшую книгу. – Пошли. – Я подтолкнула Шарлотту к выходу. Сделав несколько шагов, она прислонилась к стойке и выжидательно поглядела на Жана.

– Солнышко, его больше нет. – Я притянула ее к себе. – Боже, как ты чудесно пахнешь... твои руки, прекраснейший запах женщины, второй, третий день после месячных, тончайшая ваниль. Шарлотта, ты не можешь исчезнуть, ведь я охватываю ладонями твои плечи, вижу твою грудь, ощущаю под длинным шелковым платьем вкус ванили. Солнышко, ты должна мне помочь и пройти со мной до конца, до точки в конце предложения.

– Мне негде жить, и у меня нет денег. – Михал тщательно исполнял весь кофейный ритуал: сначала разворачиваешь сахар, затем на мгновение замираешь над темной поверхностью чашки, опускаешь туда ложечку, бросаешь в кофе цветной фантик. – Бумажку потом можно пососать – когда допьешь кофе. Мне негде жить.

– Где же ты живешь и на что? – Я бросила в кофе сахар прямо в обертке.

– Я живу со стиральной машиной. Один знакомый переделал туалет в прачечную. Там нет окна, помещается только спальник и стиральная машина, больше ничего, никаких проблем. Но каникулы

заканчиваются, возвращаются жильцы, придется переезжать. Нельзя оставаться даже на ночь, потому что после двадцати двух ноль-ноль – льготный тариф на электричество, и соседи приходят стирать. Я люблю свою стиральную машину, она дарит мне тепло, покой, свет. Порой мне кажется, что это почти живое существо, например, самка Будды.

– Почему бы тебе не вернуться домой? Хотя бы в гараж – он больше твоей прачечной, да и окна там есть.

– Обожаю цвет кофе, – Михал заглянул в чашку, – единственный цвет, обладающий запахом. У моей стиральной машины нет недостатков... если не бросать в нее грязное белье, она даже способна на платонические чувства – стирает чистую воду. У моей жены есть только один недостаток – она меня не любит. Я не могу вернуться домой. Не заставляй меня рассказывать философские истории и доказывать, что существует исключительно реальность разлук и никогда – возвращений. У меня нет жены, нет дома, я съезился до габаритов берлоги и прошу тебя найти жилье именно такого размера. Кухня мне не нужна, туалет есть в библиотеке. Я могу уходить утром и возвращаться в полночь.

– Как Золушка, – пробормотала я.

– Что «как Золушка»?

– Ты, Михалик, возвращаешься в полночь, как Золушка.

– Шарлотточка, милая, тебе что, захотелось быть всезнающим повествователем? Но эта роль уже отдана Святому Духу. Ну так как?...

– ...прямо он не просил, но, видимо, хотел бы временно перебраться ко мне.

– И что ты ему ответила? – Ксавье накрывал глиняную статую мокрыми тряпками.

– Что спрошу у тебя. – Я уклонилась от полетевшей в меня тряпки, с которой капала вода.

– Ты бросила в кафе парня, которого бросила жена, ты бросила человека, который пытается жить, хотя живет, и пришла спросить меня, может ли он жить с нами. – Ксавье обнял скульптуру, обвязывая прикрывающую ее ткань веревкой. – Не обижайся, но я скорее предпочел бы жить с ним, чем с тобой. Он пытается полюбить хоть что-нибудь, хотя бы стиральную машину, а ты...

– Так ты согласен?

– Естественно. Он может спать в мастерской на подиуме. Будет мне позировать во сне. Так что даже заработает – немного, но все же... Давай сходи за ним в эту его прачечную.

– Сейчас он, наверное, в библиотеке Бобур, – подумала я вслух, надевая пальто.

– Приведи его, где бы он ни был, детка, – неужели ты не понимаешь, как далеко он зашел, какой внутренней точки небытия коснулся?

– Я только сказала, что он в Бобур.

Перед Бобур, как всегда, поют о кондорах индейцы в пончо и котелках. Возле них сидит живописный старик – выглядывает из золоченой рамы и предлагает прохожим свою добродушную улыбку: бросьте в шляпу франк и сделайте снимок. Какой-то анархист, взобравшись на ящик из-под кока-колы, призывает не платить за пиво:

– Это извращение – за одно и то же пиво в магазине и в баре платить по-разному. Пока не установят единую цену, пейте бесплатно!

Я обошла два этажа библиотеки, столик за столиком, заглянула даже в отдел спорта. Разбудила клошара, уткнувшегося в альбомы по искусству Ренессанса. Задела еще нескольких, спавших на полу. Нигде не было Михала – в армейской куртке, разорванных джинсах, с приросшим к спине рюкзаком. Пять часов вечера, темнеет, тонут в сумерках узкие домики перед Бобур. В воздухе запах травки и гашиша. Поднимаясь вверх по скользкой мостовой, я прохожу мимо сидящих на корточках индейцев, и крутая улица, подчиняясь ритму их музыки, превращается в стену мексиканской пирамиды. На вершине лавочник громко возвещает:

– Свежие устрицы, свежайшие! Медам, месье, свежие устрицы, покупайте свежих устриц!

Раз появились свежие устрицы, значит, начинается праздник молодого вина божоле.

– Мадемуазель, позвольте угостить вас бокалом вина, – галантно покачивается в дверях быстро пожилой мужчина.

– Не могу, я ищу одного человека, – оправдываюсь я.

– Да ладно вам, этот человек сегодня тоже пьет божоле, вы не можете отказать мне в такой день.

Я вошла в уютное бистро. Старик усадил меня за стойку и подал бокал красного вина. Рядом пил кошерное божоле любавичский хасид.

– Хорошее вино, – одобрительно заметил он. – А вы знаете, что вино изобрели евреи? Первый подвал был открыт Ноем пять тысяч лет тому назад.

– Разумеется, вино изобрели евреи, – согласился хозяин, вытирая рюмки. – Всё они изобрели, весь мир – изобретение еврейского Бога. Так написано в Библии.

– Так оно и есть, – согласился старик.

Хасид долил себе из кошерной бутылки. За столиком позади нас начали ссориться два панка. Звон разбитых пепельниц. Выбежав из-за стойки, хозяин разнял драчунов и выставил из бистро.

– Это еврейская религия учит, что следует подставить вторую щеку, да? Не очень-то эффективно, – пожаловался он, осторожно собирая битое стекло.

– Ничего подобного, – возмутился любавичский хасид, – никогда в жизни. Если тебе дали пощечину, не подставляй другую щеку, а убегай: зачем же искушать человека на новый грех?

Никто не знал, где прачечная Михала. Эва, его жена, слышала, что это где-то в районе Лез Аль. По несколько раз в день я заходила и осматривала всю библиотеку. Расклеила вокруг Бобур записки: «Михал, позвони. Шарлотта». Ксавье, увидав, как я пишу очередное объявление, посоветовал дописать по-французски: «Прививки сделаны, нашедшего просим доставить по следующему адресу... Хорошее вознаграждение гарантируется».

– Нельзя искать его, словно потерянную вещь. Это человек, в твоих мыслях о нем должны присутствовать эмоции, ты должна захотеть его увидеть. Иначе вы никогда не встретитесь. Найти можно предмет, собаку, но встретить – только человека.

– Ксавье, что это ты в метафизику ударился? – продолжала я переписывать объявления.

– Это не метафизика, а чистой воды практика. Я ковыряю глину, пытаюсь найти внутри человека. Когда мои мысли заняты только формой – чтобы модель сидела неподвижно, а пропорции были переданы верно, получается мертворожденный ребенок. Но если думать о скульптуре как о живом человеке, которому я хочу помочь выбраться из глыбы материала, тогда у меня выходит по-настоящему.

Поэтому, расклеивая новые объявления, я думала о Михале, о его прачечной и о том, что хочу, чтобы он жил с нами, потому что устала от проповедей Ксавье. Михал и в самом деле нашелся – я встретила его в библиотеке, обложенного томами комментариев к Декарту. Я села рядом.

– Cogito ergo sum, ^[8] – приветствовал он меня.

– Потрясающе, Ксавье оказался прав! Мыслию, следовательно, ты существуешь.

– Это не Ксавье придумал, – удовлетворенно заметил Михал, – а епископ Беркли. Он предполагал, что мир вещей существует лишь тогда, когда мы на него смотрим. Стоит закрыть глаза или отвернуться, пейзаж, человек или пустая бутылка из-под виски исчезнут. Епископ пытался оборачиваться неожиданно. Однако действительность всегда его опережала, успевая создать фальшивые декорации. Беркли не был безумцем, это доказано. – Михал чертил на обложке тетради что-то вроде плана. – Если очень-очень быстро оглянуться, можно увидеть епископа. Он посмотрит на тебя и подумает: «Вот видишь, я был прав».

Я была уверена, что Беркли не увижу, но все равно захотелось обернуться.

– Ну как? – жаждал убедиться в своей правоте Михал.

– Вижу негра в элегантном костюме, у него насморк, он нюхает ментоловый карандаш. По-моему, сейчас запихнет его себе в нос.

– Попробуй обернуться быстрее, – посоветовал Михал.

– Запихнул...

Я помогла Михалу упаковать рюкзак, и мы вышли из библиотеки. По дороге к метро я объяснила, что ему предстоит быть жильцом-моделью. Вкратце описала наши с Ксавье привычки. Однако Михал продолжал размышлять о мышлении.

– Послушай, – радостно сообщил он, – я сочинил стихотворение. Нет, не стихотворение, хокку. Пошлю его Эве. Хокку о разводе: «Я думаю о тебе, а ты думаешь о члене своего нового любовника».

– Ты уверен, что надо это ей посылать?! – пыталась я перекричать шум метро.

– Это ведь красивое хокку, очень красивое. Женщинам принято посылать стихи и цветы, разве не так?!

– Почему ты всегда договариваешься со мной о встрече в одном и том же кафе, у тебя кто-то есть на улице Паве?

– Ты, ты, Габриэль! – Я, смеясь, поцеловала ее. – Ты мне ужасно нравишься в этом кафе, потому что не понимаешь ни слова. В состоянии заказать чай, но беспомощна, когда официантка болтает по-польски или по-русски. Мне хочется, чтобы ты хотя бы здесь не чувствовала себя хозяйкой, впрочем, ты ведь знаешь, что от тебя у меня нет секретов.

– О чем ты говорила с официанткой? – Габриэль все же пыталась быть в курсе всего.

– Это непереводимо... Я спросила ее, что случилось с человеком, который когда-то играл здесь на аккордеоне. Она ответила, что с некоторых пор его не слышно, видно, умер.

– Все вы чокнутые. Сидите в затхлом подвале, разговариваете на шелестящих наречиях. – Зажженной сигаретой Габриэль прочертила в воздухе дугу.

– Габриэль, мы не чокнутые, мы непереводимые.

– Ты права, я не понимаю. – Она помахала белой салфеткой, которую вытащила из-под тарелки. – Сдаюсь, поговорим о французах – как поживает Ксавье?

– Продал две скульптуры, у него множество идей, которые он обсуждает с Михалом. Тот уже неделю живет у нас. Лежит себе в чем мать родила посреди мастерской и повествует о философии или о своей несчастной любви к жене. Собственно, философская проблема Михала и есть вопрос: почему жена его разлюбила. Во всяком случае, Ксавье целыми днями лепит его и рисует, утверждая, что тот позирует ему телом и душой. Вчера из Лиможа приехала десятилетняя кузина Ксавье – брать уроки рисунка. Я попросила ребят не болтать при девочке всякой ерунды, а Михала – прикрыть свое исключительно скульптурное причинное место. Разумеется, при каждом движении полотенце на его бедрах развязывалось, а сальные анекдоты вспоминались без конца. После ужина Одиль пришла ко мне в кухню помочь вымыть посуду и сказала, чтобы я не переживала – она, мол, уже видела голого мужчину, а глупые шутки ее не смешат, потому что у нее совершенно ужасная проблема. Я со всей серьезностью спрашиваю девочку, в чем дело.

«Тебя не удивляет, что я посреди учебного года приехала в Париж?» – спрашивает Одиль срывающимся голосом.

«Родители вроде говорили, что ты занимаешься рисунком и хочешь взять несколько уроков у Ксавье».

«Они ничего не знают. Шарлотта, я тебе расскажу – больше я никому не доверяю, – только это секрет. – Одиль схватила меня за плечо своими худыми ручонками. – Я люблю одного человека и хочу ему помочь». При этих словах у девочки стали глаза отчаявшейся женщины. Одиль призналась мне, что вот уже несколько месяцев у нее почти роман с учителем рисунка. Она занимается частным образом, хочет стать художницей. Учитель в нее влюблен, водит в кино, читает стихи, учит видеть мир. Раздевает, рисует, целует, но больше ничего такого, хотя и хотел бы заниматься с ней любовью – боится, что, если о романе узнают, родители и полиция поднимут скандал. Художник сделал несколько портретов обнаженной Одиль в стиле Модильяни, но тут же порвал со словами, что он рвет эскизы, потому что не имеет права разорвать ее девственность. Одиль решила отправиться в Париж к гинекологу. Можно было бы найти врача и в Лиможе, но тогда об этом узнает весь город. Двоюродная сестричка Ксавье хочет убедить гинеколога, что ее девственная плева так разрослась, что мешает передвигаться. Одиль попросит рассечь ее и выдать справку об операции. Тогда девочка убедит учителя в своей любви, и они смогут нормально заниматься любовью. Если вдруг все раскроется, она предъявит родителям и полиции справку от гинеколога.

В утешение я рассказала ей о своих приключениях с девичеством. Это случилось перед выпускными экзаменами. В меня влюбился мальчик из младшего класса. Дарил цветы, писал стихи, вздыхал, в общем, вообразил, что я его первая и чистая любовь. Что же касается меня, я потеряла девственность еще за пять любовников до него. Мне хотелось доставить ему удовольствие, так что я купила в секс-шопе свечи «Хариса»... Свечка тает, склеивает все, что надо, и мужик в полной уверенности, что он первый. Мой любовник старался быть исключительно нежным и деликатным, поэтому для начала обцеловал меня с головы до ног, да так страстно, что почти полностью сожрал мое свечное девичество. А наутро я была вынуждена пальцем пробивать его склеенный рот.

– Девичество преходяще, – задумалась Габриэль. – Многие события подчиняются закону прехождения. То же в античности: слепой Тиресий не хотел говорить Эдипу, что ожидает того в будущем. Эдип все же заставил его произнести предсказание, после чего ослепил себя. Преходит слепота, преходят люди и вещи.

– У тебя нет старых ботинок? Ксавье собирает для инсталляции.

– У меня целый музей ботинок, пусть Ксавье зайдет и сам выберет. Сколько здесь дают на чай?

– Как в любом французском кафе.

– Во французском русско-польском кафе? – не пожелала Габриэль расставаться с имиджем туристки.

Я принялась высасывать остатки сахара из фантиков и сделала вид, что не слышу вопроса.

* * *

С помойки я принесла в мастерскую две пары босоножек. Ксавье занимался с Одилью рисунком.

– Посмотри на его руку, прикрывающую рот, – куда направлена линия предплечья? И уголь держи пальцами, а не всей ладошкой, иначе никогда не добьешься тонкого штриха.

Одиль кивнула и сосредоточенно принялась за новый эскиз.

– Взгляните на нее. – Ксавье карандашом измерял пропорции лица кузины. – Возраст ангела: не девочка и не мальчик, нечто среднее, нечто прелестно нерешительное.

– Отвяжись, дядя. – Одиль показала ему язык.

– И не просто ангел, – заметил со своего подиума Михал. – Смотрите, нос и щеки в угле. А измазанный углем ангел – это знаете какой ангел? Силезский.

Одиль пожала плечами, а Ксавье присвистнул, восхитившись теологическими познаниями Михала. Я принесла горячий чай.

Как всегда по вечерам в субботу, мы отправились рыться в помойках шестнадцатого квартала. Нашли бархатную шляпную коробку, забрызганные чернилами серебристые бальные туфельки и туристские ботинки без подметок. Под кучей сломанных стульев я обнаружила микроволновку.

– Зачем нам СВЧ? – отговаривал меня Ксавье. – У нас хорошая газовая плита с грилем и духовкой. И потом, она небось сломана – на вид совсем новая, а новую даже в шестнадцатом квартале никто не станет выбрасывать.

Я уперлась и принесла микроволновку домой. Она оказалась вполне исправной. Только дверца не блокировалась – ее можно было открыть при включенной печке. Ксавье фотографировал этапы приготовления яичницы. Он положил в СВЧ двадцать разбитых яиц и вынимал по одному каждые пять секунд.

– Наклею на дверцу микроволновки фотографию запекшегося белка, – заявил он, – чтобы представить себе, как будет выглядеть рука, если сунуть ее в СВЧ.

– Пять секунд – и готово. – Михал недоверчиво рассматривал яйца. – Может, испечем пирог или пиццу? Эва готовила прекрасную пиццу, – мечтательно добавил он.

Ксавье протянул мне записку: «Скорее смени тему, а то он снова впадет в депрессию».

– Михалик, можно и пиццу, если ты сделаешь тесто. Посмотри, что у нас в холодильнике. Нужно, наверное, купить еще пармезана и ветчины. Сходишь со мной в магазин? – Я протянула ему сумку.

– В магазин? Не стоит, сделаем из того, что есть: рыба, обычный сыр. Пусть Одиль с Ксавье сходят за вином, ужин через полчаса.

Мы остались в кухне вдвоем, Михал замесил тесто, порезал помидоры и принялся их рассматривать. Не сводя с них глаз, сел на табуретку.

– Знаешь, эти помидоры... я покупал такие Эве до свадьбы... еще ананасы, дыни... А ей хотелось цветов. Что такое цветы? Пестрое, безответственное обещание. Помидоры, ананасы – оплодотворенные цветы, плод зрелой любви, которую можно изведать, раскусив сладкую мякоть. Эва жаловалась, что я все это специально придумываю, а на самом деле просто эгоист – ведь цветы предназначались бы одной ей, а фрукты можно съесть вместе. Уже после нашего разрыва я принес ей букет тюльпанов. Эва ничего не сказала, накрыла стол белой скатертью, зажгла свечи, унесла вазу в кухню – налить воды. Мы чудесно поужинали. На губах у Эвы была пурпурная помада того же оттенка, что и вино. Поблескивали подсвечники, тихо звучала барочная музыка. Мы беседовали о голландских мастерах, о

натюрмортах. Я спросил, понравились ли ей мои тюльпаны. Их можно поставить рядом со свечами, как на картинах Рейсбека.

– Понравились, – ответила Эва. – А как они тебе на вкус? – Она указала вилок на мою тарелку с остатками пиццы.

Я пригляделся и обнаружил запеченные среди ломтиков ветчины и помидоров смолистые пестики и желтые лепестки тюльпанов.

– Ксавье разбил бутылку, – хлопнула дверью Одиль.

– Только одну, – оправдывался Ксавье.

– Пустяки, ужин все равно не готов, – утешил его Михал. – Съедем сыр и помидоры.

Мы отнесли тарелки в мастерскую.

– Сидим за столом, разглядываем дырки в сыре. Возможно, они нас тоже... – произнесла Одиль.

– Дырки в сыре едят или выплевывают? – спросила я.

– Эва... – вздохнул Михал.

– Что «Эва»? – вышел из себя Ксавье.

– Не знаю, вот как раз и хотел бы узнать, но не знаю.

– Шарлотта, погадай ему на таро, чтобы он успокоился. – Ксавье убрал со стола. – С сумасшедшим следует вести себя соответствующе. – Он протянул мне коробочку с картами.

– Я миллион раз говорила: это не гадание, а медитация.

– Мне тоже погадай, – попросила Одиль.

Ксавье присел на корточки рядом с кухней:

– Ты слышала, что сказала Шарлотта? Это не детские карты, ты еще слишком мала для метафизики.

– Я уже взрослая.

– Ах так? – Ксавье поднял ее вместе со стулом. – Тогда пошли, пропустим по пивку. Мы вернемся через час! – крикнул он, захлопывая дверь.

Михал рассматривал карты.

– Я никогда не видел с такими картинками.

– Семнадцатый век, марсельское таро, копия средневековых рисунков. – Я отобрала у него карты и сложила обратно в коробку.

– Почему ты не хочешь гадать? – Он зажег от сигареты свечку.

– Погаси погребальную свечу. Для гадания нужно настроение. Но таро – не гадание. Хочешь узнать, что это такое? – Я разложила на столе карты. – Первая фигура – Фокусник. Приглядишься к нему

хорошенько, это ты. Тебе хочется забавы, игры. Ты ничем не рискуешь, спрашиваешь со смехом, что же будет дальше. Ловок, уверен в себе, свободен. В любой момент можешь поклониться и исчезнуть вместе со своим жонглерским хозяйством и заученными жестами – вот как этот, например, когда ты нервно покусываешь сигарету. Эта игра ничем не отличается от других – здесь тоже есть ставки, возможно, на чью-то жизнь. Твой вопрос раскроет книгу, лежащую на коленях второй фигуры таро, – Папессы. Книгу, где записаны все твои профессиональные улыбки, все слова, которыми ты жонглируешь. Достаточно откинуть вуаль с лица Папессы и посмотреть ей в глаза – она все знает, помнит будущее. Можешь называть ее душой или, если угодно, подсознанием. Играешь дальше?



Михал вытянул из-под моих пальцев третью карту и прочитал полустертую надпись: Императрица.

– Твоя женская половина, – я повернула к нему карту, – она не может управлять самостоятельно, рядом с ней Император. Властвует над мужским и женским началом, над миром физиологии. Теперь черед духовной власти. Пятая карта – Папа: он не стремится к царскому золоту, он жаждет покоя для твоей совести. Не требует, не приказывает, но учит различать добро и зло. Шестая карта – Влюбленные. Еще можно вернуться, еще не избран путь: добродетель или грех, победа или поражение. Влюбленный... Ты – влюбленный в самое себя жонглер. Верить в свою неизменную удачу и играешь

дальше. Ты оказался прав, Колесница (седьмая карта) – твоя. У кого ты выиграл? Кто в проигрыше? Появляется Справедливость (восьмая карта), которая рассудит победителя и побежденного. Еще можно избежать приговора одиночества. Отшельник (девятая) отыскал путь, неведомый Влюбленным. Однако Фокусник продолжает игру и бросает все на Колесо фортуны (десятая). Он не зря верил в свою звезду и Силу (одиннадцатая). Голыми руками побеждает льва и готов к следующему испытанию: вот он висит на дереве вниз головой. Повешенный (двенадцатая карта) уже не в состоянии защищаться, он видит мир вверх ногами и ждет, пока Смерть (тринадцатая) косою перережет веревку. Это последняя возможность повернуть назад. Теперь ты видишь – на кон поставлена жизнь. Посмотри, что следует за тринадцатой картой: пятнадцатая – Дьявол со своей адской свитой. Тебе бы хотелось вновь превратиться в рыцаря с Колесницы, бороться с Дьяволом и Ангелом (четырнадцатая). У тебя связаны руки, одна стопа свободна, ты можешь вырвать из петли вторую и бежать. Но предпочитаешь остаться и вопрошать: «Что после смерти?»

– И что же?

– Ты так и не узнаешь. Ты смертен, а следовательно – вечен. – Я смешала карты.

– Так зачем же все это?... – Михал был разочарован.

– Не знаю, поэтому и не гадаю, не жонглирую картами – потому что не знаю, зачем все это. Это все, как ты говоришь, просто существует, подобно «Я есмь тот, который есмь». Это не требует пояснений. Существует, потому что совершенно. TAROTAROT означает РОТА – колесо, круг, самая совершенная из всех фигура. Таро недоступно стороннему наблюдателю, невозможно веселиться, не включившись в хоровод, но ты не знаешь, куда уведет тебя танец, куда похитит. – Я убрала со стола пустую бутылку.

– Круг? Это помешательство, повторяющее самое себя безумное исступление, из него нет выхода, в прямом смысле нет, такой круг можно лишь разорвать.

– Или не кусать собственный хвост, – вставила я.

– Что за хвост? – Мысли Михала были далеки от каких бы то ни было хвостов.



– Уроборос, пожирающий собственный хвост змей гностиков. На самом деле его пасть и хвост разделяет миллиметр.

– Вот именно, – продолжал Михал, – чтобы избежать безумия круга, нужно проскользнуть этот миллиметр. Распряженный змей, еще не сожравший свой хвост, – это не круг, а отрезок. Предположим, что он бесконечен, подобно прямой, тогда бесконечно и движение разума в поиске причин и следствий. Рационализм, пусть даже уходящий во тьму бесконечной прямой... лишь бы не циклическое безумие круга, где причина является следствием, а следствие – причиной.

Поддакивая, я ногтем вычерчивала на скатерти спираль:

– Ты не веришь в геометрический экуменизм? Спираль, гениальный синтез круга и прямой...

Михал проигнорировал мою геометрическую теологию.



– Шарлотта, послушай музыку... Мелодия есть набор последовательных причин и следствий, образующих гармонию звуков. Моцарт, Бах и так далее. Но возьми фрагмент мелодии и повторяй до бесконечности, пусть этот твой Уроборос схватит себя за хвост: начинается транс, навязчивый ритм, тамтамы. Твой рассказ о таро подтверждает мою гипотезу о том, что мир стремится к кругу, к тому, чтобы пасть Уробороса сомкнулась на его хвосте. Однако остается шанс этого миллиметра, и нужно прилагать все усилия, чтобы расширить его, не позволить разуму замкнуться в самодвижущей

логике безумия. Были такие, кто пытался это сделать. Например, Декарт. Он интуитивно чувствовал, что мышление довлеет к кругу, и решил разорвать этот круг первопричиной: мыслью – следовательно, существующую. Это единственная аксиома, первопричина всего: выведя из нее прочие следствия и причины, он заново создал рациональный мир, в котором нет места для искушающего безумием Уробороса. Подобным образом Декарт поступил и с геометрией. В основу положил определение точки, миллиметр разума, из которого затем создал другие причины и следствия, аксиомы и положения аналитической геометрии. Геометрии, которая в любой момент, стоит нам усомниться – не попали ли мы в замкнутый круг? – позволяет возвращаться ко все более элементарным аксиомам, вплоть до исходной точки рассуждений, того самого миллиметра, разделяющего змеиную пасть и безумный хвост. Декарт отделил разум от безумия, душу от тела. В философии подобное разделение мышления и тела называется психофизическим дуализмом. И эта теория прекрасно работает. Вот смотри: французы гордятся, что унаследовали от Декарта рационализм, а что они сделали с телом учителя? Кости рук пустили на кольца для адептов, декартовских рационалистов. Череп философа пылится на полке Национального музея естественной истории. Там собралась неплохая компания. Рядом черепа великана, убийцы, карлика. Декарт как каприз природы или связующее звено с таинственным миром извращений эволюции: Патология, Убийцы, Декарт, Современный Француз.

– Михалик, твое критическое отношение к французам – также, увы, наследие французского критицизма. За твоей спиной – фраза из письма Вольтера Д'Аламберу, ее вырезал на стене Ксавье, француз в квадрате. Вон там, под мазней одного из «новых диких». Снимешь картину сам или тебе процитировать наизусть?



– Давай. – Он принялся ставить бутылки в ряд.

– «Вскоре я умру с ненавистью к Франции – стране обезьян и тигров, где я появился на свет по глупости моей матери».

– Ха-ха, Вольтер – обезьяна, унаследовал. Шарлотта, я люблю эту страну и туземцев. Что может быть лучше бутылки медака и нормандского камамбера... Обожаю смотреть, как по утрам, не глядя в зеркало, ты подкрашиваешь губы, повязываешь голову пестрой шалью и, не причесываясь, отправляешься в булочную напротив за французским батоном. Эти рваные ради эпатажа чулки и кокетство – будто ты не умеешь ходить на шпильках. Шарлотта, это и есть Париж в девять утра, точь-в-точь такой, как ты. И теперь, в полуночном бистро, где пьяный Ксавье заигрывает с маленькой кузиной. Девочке, конечно,

неохота по дороге домой целоваться с Ксавье в какой-нибудь темной подворотне. Он, правда, целуется получше, чем ее приятели со двора, к тому же так умоляюще смотрит своими синими глазами, прекрасными руками скульптора снимая с Одилы трусики, он такой красивый, мужественный и...

– Михал, ты совершенно пьян, Ксавье меня любит.

– Вот именно, любовь Ксавье подтверждает принцип психофизического дуализма. – Он складывал из бутылок пирамиду. – Душой и разумом он любит тебя, но увлечен телом кузины. Не тревожься за девичество Одилы, это их семейное дело, кровные узлы.

– Ну все, хватит! – Я сбросила бутылки на пол.



Утром я побежала за круассанами и французским батонем, забыв, что по понедельникам булочная на улице Бланш закрыта. Пересекла площадь Бланш и дошла до улицы Лепик. На лотках итальянский виноград по шесть франков килограмм. Может, купить лучше его? Нет, сегодня у нас будет настоящий завтрак, со свежими круассанами. Выну фиолетовую скатерть в зеленую клетку, сверху положу желтую салфетку. Голубые фаянсовые чашки и тарелки. А посреди круглого стола – латунная ваза с бледными от пыли засушенными розами.

Тихонько, стараясь не разбудить завернувшегося в плед Михала, я подмела, собрала окурки и разбитые бутылки. Заскрипела раскладушка Одиль. С китайской ширмы, за которой спала девочка, исчезли черные колготки и короткое голубое платье.

– Шарлотта, дай мне заколку или ленточку, – протянулась из-за ширмы рука.

– Тише, Михал спит. Держи. – Я стянула шелковую шаль с косы и положила ее на просительно вытянутую ладонь. Принесла из кухни кофе. Одиль уже сидела за столом.

– Чудесный завтрак, – похвалила она, откусывая круассан.

– Твой последний завтрак в этом доме. – Я разломила батон и намазала половинки маслом.

– Что случилось? А, родители звонили... – догадалась девочка.

– Нет, родители не звонили. Просто после вчерашнего вечера необходимость в гинекологе отпала, правда? – Я смотрела, как она заливается краской. – Хочешь кофе? – Я пододвинула Одиль кофейник.

– Тебе Ксавье рассказал, – произнесла она почти укоризненно.



– Я не говорила с Ксавье. Ночью он был так пьян, что лег спать прямо в ботинках. Мы не разговаривали, он еще не встал. Просто я вижу, что между ногами тебя больше ничего не беспокоит. – Подиум заскрипел, Михал укрылся пледом с головой. Я понизила голос. – Ты понимала, что ни один врач не поверит твоей истории о разросшемся девичестве, поэтому решила в случае чего шантажировать родителей ночной эскападой с кузенком Ксавье. Семейный скандал никому не нужен, так что учительшка в полной безопасности. Ловко придумано, слишком ловко для твоего возраста. Ты думаешь не головой, а маткой. Знаешь, что такое матка?

Одиль смотрела на меня застывшим взглядом, не смея вытереть мокрые от слез щеки.

– Знаю, – послушно ответила она.

– Если ты хоть раз позвонишь Ксавье, я расскажу родителям об учителе. Ксавье наверняка не вспомнит о том, что произошло вчера. Вытри нос и не всхлипывай. Собери вещи и садись с нами завтракать.

Я отправилась в спальню будить Ксавье. Стянула с Михала плед, он сквозь сон пробормотал, что уже встает. Я приоткрыла окно, и холод согнал его с подиума к столу. С закрытыми глазами Михал нащупал чашку с горячим кофе. Приплелся Ксавье, которого мучило похмелье, буркнул «Bonjour»^[9] и вынул из холодильника бутылку вина. После нескольких глотков ему полегчало, и он оглядел стол пронизательными глазами художника-скульптора.

– Прекрасная декорация, которую не портит даже чашка с отбитой ручкой в лапах Михала. – Он уселся рядом с Одиль и, раскачиваясь на стуле, допил вино из горлышка.

– Откушенной, а не отбитой. – Михал осторожно коснулся фаянсовой культуры. – Откушенной небытием, – подвел он итог экспертизы.

– Ерунда, небытия не существует. – Ксавье отставил в сторону пустую бутылку.

– Ты прав, – согласился Михал, – поэтому оно злится, что чашка существует, и мстит, откусывая ей ручку. Люди умирают от смерти, а предметы от небытия – оно кусается, разрывает на части, хотя бывает и хроническим. В этом случае вещь тускнеет, дряхлеет, но перед самой гибелью вдруг на мгновение становится блестящей и пестрой, после чего рассыпается окончательно. Поглядите на эту скатерть, словно с картины Матисса... она кричаще-фиолетовая с зеленым узором, а на самом деле – серая. Матисс рисовал вещи именно так – перед самым распадом, в прощальном, тленном сиянии красок.

Одиль, не сводя с Михала глаз, разглаживала скатерть.

– Утреннюю почту принесли? – спросил Ксавье.

– Да, но ответа с выставки нет. Может, будет днем или вечером. Не беспокойся, твои работы наверняка взяли. А мне пришло письмо из Италии. – Я вынула из кармана блузки конверт с огромной маркой, на которой глуповато улыбалась похожая на Одиль средневековая мадонна. – У нас хотя бы ненадолго остановится Ясь с одним швейцарским теологом. Они сейчас знакомятся с Римом, ждут парижской стипендии. Ясь заканчивает третий том «Скуки оргазма».

– Чего? – Ксавье поперхнулся круассаном.

– Научный труд о скуке оргазма, – пояснила я. – Ясь его уже пять лет пишет. Как бы нам тут разместиться? – Я оглядела мастерскую. – Михал на подиуме, ребятам положим большой матрас у окна. Одиль не помещается.

– Она может спать с нами в спальне. Дай, пожалуйста, сахар... Спасибо, Одиль. Она ведь еще ребенок.

– Согласна, Ксавье, она еще ребенок и поэтому отправляется к своим родителям.

Склонившись над тарелками, Михал и Одиль крошили хлеб.

Через неделю пришло долгожданное письмо – две скульптуры из трех приняты на выставку. Прислали письмо и родители Одили – благодарили за заботу о малышке и приглашали нас приехать на Рождество. Третье письмо, от Яся, привез из Рима Томас. Всем привет и жалобы на Фонд культуры, отказавший им в этих несчастных десяти тысячах франков. «Они посоветовали мне изменить название научного труда и пожелали удачи. Я, пожалуй, посвящу им один из своих оргазмов. Томас получил деньги на сравнительное исследование в области теологии. Он вам не помешает. Это обаятельный и тактичный человек, которого интересуют лишь древние еврейские и персидские рукописи. Ему нужно три месяца, чтобы закончить кандидатскую диссертацию», – писал Ясь.

Швейцарец более или менее соответствовал описанию. Для начала он извинился за беспокойство и объяснил, что на гостиницу не хватает денег. Мне как хозяйке он вручил три тысячи франков, вежливо умолчав, предназначается ли эта сумма на оплату жилья или на совместные трапезы. Принялся килограммами таскать в мастерскую книги, причем в отличие от Михала не разбрасывал повсюду свои записи. Ценные рукописи раскладывал на постели за китайской ширмой, а себе стелил на матрасе.

– Мне так удобнее, – уверял он. – Если я просыпаюсь ночью и хочу что-нибудь проверить, не приходится лезть под кровать и рыться в бумагах. Я просто зажигаю фонарик и сразу нахожу что надо.

Томас приучил нас к итальянской кухне. На ужин он готовил *la pasta italiana*.^[10] Каждый вечер по-новому, но название оставалось неизменным.

– *La pasta italiana*, – провозглашал он и водружал на стол миску горячих клецок, посыпанных сыром.

– Bellissima,^[11] – хвалил блюдо Михал, подражая немецкому акценту швейцарца.

К la pasta italiana Томас покупал канелли, итальянское белое вино, подслащенное виноградным соком, к сыру – его же.

– Томас, Томас, к камамберу подают бордо: каждому сорту сыра соответствует свое вино, – убеждал его Ксавье.

– Понимаешь? – ударился в теорию Михал. – Подобно тому, как каждой женщине соответствует свой мужчина.

Швейцарец смеялся и наливал очередную рюмку белого вина:

– Шарлотта к камамберу подает канелли.

– Шарлотта тут не аргумент, – возражал Михал. – Она наполовину полька, наполовину француженка, в ней все перемешано.

– Не давай себя в обиду, Шарлотта, – подбадривал меня Томас.

– Успокойтесь, через две-три бутылки вы забудете, о чем спорили. – Отодвинув тарелки в сторону, я разложила карты.

Михал опустил пониже висевшую над столом лампу, вынул из рюкзака мятый экземпляр «Рассуждений о методе» и принялся черной пастелью подчеркивать отдельные слова.

– Наконец-то я выяснил, куда подевался мой любимый карандаш. – Ксавье забрал у него пастель. – Руки вверх, – скомандовал он, обыскивая карманы армейской куртки Михала. – Смотрите-ка, и черный фломастер нашелся. – Он внимательно оглядел свою модель и извлек из шевелюры Михала удерживавший прическу длинный карандаш. – Voila,^[12] еще один. – Он сгреб рисовальные принадлежности и отгородился листом картона с эскизом обувной инсталляции.

– Не убирай волосы, – попросила я, – тебе так больше идет. Желтый свет придает им рыжевато-золотистый оттенок, по контрасту с почти белым Томеком.

Томас, видимо, уловил свое имя, хотя я говорила по-польски. Он выглянул из-за иврит-немецкого словаря.

– Почему ты перестала рисовать с тех пор, как вы стали жить вместе? – тихо спросил Михал. – Ты видишь мир в цветах и контрастах, но вместо того чтобы рисовать картины, занимаешься икебаной, украшаешь мастерскую, делаешь себе очередной фантастический макияж. Все это очень красиво, но за счет чего-то другого, правда?

– Мастерская слишком мала для нас двоих. Я написала несколько картин, они лежат в спальне. Я тебе как-нибудь покажу.

– Я помню твои работы, очень неплохие.

– Может, кофе? – перешла я на французский.

– Потом, потом. – Ксавье закончил эскиз. – Теперь надо прибить к потолку эти кожаные ботинки с оторванной подметкой.

– Ну уж нет... старые ботинки над головой... Ты хочешь, чтобы мы спали в этом амбре? – запротестовал Михал.

– Мы еще и есть здесь будем. – Не обращая внимания на жалобы, Ксавье забрался на стремянку. – Через неделю я все уберу, – пообещал он, приколачивая бальные туфельки.

– Есть мы теперь будем редко, – сообщила я, тасуя карты. – Это не астрологический прогноз, просто деньги кончаются. Из того, что дал Томас, тысяча семьсот ушла на электричество и газ. Ужины поитальянски – это недорого, если отказаться от кафе, хватит еще на неделю. Вместо того чтобы покупать недельный билет на метро, можно ходить пешком или пробивать в автобусе использованные талончики. Можно подождать, пока заплатят за твою скульптуру... Но к чему тратить сорок франков на пиво в Ле Мазе, если такое же «Экю» в магазине стоит семь? И зачем покупать специальный корм для крыс возле Нотр-Дам, они ведь сожрут все что угодно?

– Я не знал, что деньги кончаются. – Ксавье сел за стол. – Я люблю крысок, – принялся он осторожно убеждать удивленного Томаса, – они мне нравятся. В детстве после воскресной мессы мы с родителями гуляли вокруг Нотр-Дам. Родители обсуждали проповедь епископа или кардинала. Мы с сестрой кормили голубей. Нам не разрешали подходить к клумбам – они кишели крысами. Мне было запрещено их разглядывать: это, мол, отвратительные, грязные животные, которые разносят всякие болезни. А мне они казались более беззаботными и ловкими, чем глупые голуби. Крысы порой выхватывали из рук спящих в коляске младенцев леденцы, кусали друг друга за хвост, с веселым писком катались по земле. Я ставил ногу на цветник и, сделав вид, что завязываю шнурки, потихоньку кормил их. Родители не разрешали мне держать дома мышку или хомячка. Поэтому в соборе я прятал облатку под язык и скармливал крысам – ведь кардинал обещал, что вкусивший Тело Христово обретет вечную жизнь. Я ждал, что в один прекрасный день какая-нибудь крыса

преобразится, и тогда родители ее полюбят: позволят взять с собой, и у меня появится настоящий друг. Если раньше я угощал крыс облатками, почему бы теперь не покупать им корм? Они умные, разбираются, где сухой хлеб, а где витаминно-протеиновая смесь. Ну ладно, раз нет денег, не будем покупать жратву для зверюшек, но ароматное медовое «Экю» имеет в Ле Мазе другой вкус, чем дома. Сидишь себе на втором этаже, попиваешь темное пиво, а самые классные парижские музыканты играют что-нибудь фантастическое. За окном улица, на которой в шестьдесят восьмом строили баррикады. Я же не заказываю кофе. У Ле Мазе свой вкус, и это вкус именно одиннадцатипроцентного «Экю». В пассаже Ле Мазе жил Дантон, представляете? Дантон, который вел народ к революции, пока его сосед не построил гильотину.

Безмятежно поигрывавший приборами Михал вдруг ойкнул и упал лицом в тарелку.

– Гильотина, топор, что угодно! – закричал он, пытаясь воткнуть себе в затылок нож и вилку. – Я больше не могу, покончите со мной!

– Ну что за модель мне досталась! – Ксавье намотал на руку волосы Михала, собираясь извлечь его голову из тарелки. – Сначала окурки, теперь патлы в блюде.

Томас отобрал у Михала нож и вилку.

– Что это с ним? – спросил он, вытирая салфеткой нож.

– Не видишь, что ли? – ехидничал Ксавье. – Баба его бросила. Дай салфетку, вытрем Михалику мордашку, а Шарлотточка подойдет наконец к этому чертову телефону.

Я сняла трубку, стаканы наполнились бордо и канелли.

– Алло? Да, ничего страшного, мы еще не спим, позвать мужа?

Михал успокоился, а Томас попытался предложить библейскую интерпретацию сего жеста отчаяния:

– Голова на блюде... Ты решил изобразить Иоанна Крестителя, занимающегося самообслуживанием?

– Боже мой, Михал в роли Иоанна Крестителя. Можно подумать, что он первый теряет голову из-за женщины. Томас, передай мне, пожалуйста, трубку. Да, слушаю, это Ксавье Буало. Конечно, через две недели... четыре тысячи франков... разумеется, на ваше имя. Спокойной ночи. Что за вечер! – Ксавье вновь занялся ботинком.

– У нас долги? – уточнил с подиума Михал.

– Можно сказать и так. – Одним ударом молотка Ксавье прибил к потолку позолоченную босоножку. – Мы задолжали квартплату за два месяца. И почему этому ростовщику понадобилось звонить именно сегодня?

Я поднялась на подиум, закутала Михала пледом и легла рядом. Мы разглядывали инсталляцию.

– Надо что-нибудь придумать, – захлопнул словарь Томас. – Где-то заработать деньги.

– Надо, – согласился Ксавье.

Швейцарец отыскал в блокноте серую визитку и набрал номер:

– Добрый вечер, Милан. Это Томас... Спасибо, нормально, а ты?... Ты тут как-то в библиотеке упоминал, что требуются люди на раскопки. Найдется место для трех человек?... Нет, не добровольцами, за деньги, по контракту... Спасибо, привет Эмануэль. – Томас улыбнулся и положил трубку. – Практически готово, Милан завтра перезвонит.

Мы не разделяли энтузиазма швейцарца.

– Что за раскопки? – спросила я.

– Недалеко от Парижа, на Марне американцы строят Диснейленд, так там благодаря этому открыли галло-романское поселение. Отличная работа: еда и ночлег за их счет, платят две тысячи в неделю. Ты, Шарлотта, не поедешь, махать лопатой – это не для тебя. Особенно после окончания сезона, когда начинаются заморозки.

– Я тоже остаюсь в Париже, – предупредил Ксавье. – Мне надо закончить инсталляцию.

– Ты сможешь ее продать? – Томас что-то подсчитывал в уме.

– Вряд ли. Будь ботинки из дерева, мрамора или даже бетона – тогда конечно, но такие, настоящие, никто не купит. Я думал, инсталляция подойдет для какой-нибудь часовни в современном стиле. Твердил священникам, парижским и провинциальным, что эти ботинки – метафора, что, глядя на мою работу, живее представляешь возносящихся над нашими головами ангелов, их ноги в сандалиях или калошах. Прихожанин заглядывает снизу в ботинок с оторванной подметкой, а там пустота, ничего не видно, ведь ангел незрим, и его нога тоже – подобно общению святых.

– Разве что попадетсЯ Ангел Materiel,^[13] – захихикал под своим пледом Михал.

– Я такого не знаю, – удивился Томас.

– Не важно, – махнул рукой Ксавье, привыкший к неожиданным идеям своей модели. – Я задумал эту инсталляцию год назад, когда помогал реставрировать версальский алтарь. Приходили туристы – осмотреть часовню, понаблюдать за нашей работой на лесах. Ангел, которому я как раз приклеивал нос, понравился одной маленькой девочке. Она сбегала за отцом, подвела к скульптуре и спросила, что делает этот чудесный ангел. Отец ответил, что ничего, это ведь ангел, а ангелы ничего не делают. Быть может, так оно и есть, потому что мой ангел с отреставрированным носом и в самом деле ничем не был занят. Чуть склонившийся в барочном полуобороте, он был очень красив – и всё. Тогда я подумал, что ангелы, наверное, все же что-то делают, просто это недоступно нашему зрению. Нужно их обуть, тогда мы увидим, как они бегают по нашим делам. Священники отказываются от моей инсталляции с ботинками, а в результате миллионы девочек воспитываются в убеждении, что ангел – это тот, кто ничего не делает.

– А ангел Михаил? – вспомнил Михал, уютно закутавшись в мой свитер.

– Архангел Михаил, – поправил его Томас, – не уверен, что нужно употреблять форму прошедшего времени. По-моему, он все еще борется с драконом. Вы видели хоть одну картину или скульптуру, изображающую убитое чудовище? Ослабевшее, раненое – да, но не мертвое. Архангел в рыцарских доспехах заносит над драконом меч или, облаченный в развевающие одежды, играючи пронзает бестию изящным копьём. Такое впечатление, что эта сцена длится уже так давно, что наскучила обоим.

– Как ты думаешь, когда он наконец убьет его? – поинтересовался Ксавье.

– Вероятно, когда начнется Апокалипсис.

– Апокалипсису незачем начинаться, – буркнул в ответ недовольный Михал. – Мир и так вполне апокалиптичен. Достаточно, чтобы все шло своим чередом.

– Может быть, – согласился Томас, не желая уходить от проблемы драконов и ангелов. – Меня не интересует версия битвы Ангела с драконом, которую предлагают алхимики. Там дракон символизирует четыре стихии: Воздух – ибо он крылат, Землю – поскольку впивается в нее своими когтями, Огонь – потому что выдыхает пламя, Воду – так

как у него покрытый чешуей рыбий хвост. Дракона нужно победить, а не убить, тогда он откроет тайну клада, который стережет. Метафорическая борьба с собственной – темной, драконьей – природой, стремление ее одолеть, очистить с помощью алхимии и освободить сокровище, то есть душу. – Томас скрестил руки над головой. – Алхимики считали, что ангел и дракон живут внутри человека, в душе которого добро сплетается со злом. В этом поединке участвуют мысль, слово, каждый наш поступок. Мы согрешили – дракон подымает голову, совершили хороший поступок – ангел берет верх над бестией. Великое благо, что нам даны оба. Задумчивый ангел оберегает и нас, и дракона. Истинная битва – не та, что на иконах, – начинается тогда, когда дракон убегает от меча ангела, а мы, освободившись от зверя внутри, кажемся себе безгрешными, ангельски добрыми. Зло в других, во мраке... быть может, но что толку в этой уверенности, если, выбравшись из нашей тесной души, дракон вырастает до гигантских размеров, расправляет крылья и превращается в огнедышащего демона. В своей молитве я прошу ангела, чтобы он присматривал за гадиной во мне. Дракон бессмертен, убить его невозможно, так пусть же он сражается с ангелом моей души, чтобы мне самому не пришлось с ним бороться, когда он покинет меня и станет сильнее, чем я.

Париж – лишь предлог для того, чтобы быть вместе, покупать батоны и круассаны в одной и той же булочной, чтобы звонил телефон в нашей мастерской. Париж – предлог для поездок в провинцию к дяде Гастону, который славится своими наливками. Весной мы помогаем ему аккуратно надевать бутылки на ветки с зелеными грушами. Летом фрукты созревают, а осенью дядя Гастон собирает круглые «обутыленные» груши, заливает их ликером и продает лучшую в Пикардии наливку «Гастон Буало». Фаршированные грушами бутылки мы привозим в подарок Вонгу, хозяину «бумажного» ресторана. Китайские рестораны в тринадцатом квартале делятся на «бумажные» и «скатертные» – меню в них одно и то же, но там, где столы накрыты «скатертями», дороже. Рестораны с бумажными салфетками напоминают гибрид дешевой столовой и буддийского храма. В углу горит неизменная лампадка, кадила окуривают фигурку жирненького Будды. Мсье Вонг подает гостям сою, прозрачные макароны в

пожелтевшей фарфоровой посуде. Хотя уже за полночь, его трехлетний сыночек сидит с нами за столом и разрисовывает мелками бумажную скатерть. Приходит решительная старшая сестренка – пора спать, но маленькому Ли не хочется уходить в свою комнатку над рестораном. Зевая, он что-то объясняет нам на китайском языке. Вонг, смеясь, сажает его на колени:

– Вы ему понравились, поэтому он решил, что вы понимаете по-китайски.

Мы пьем чай, в углу улыбается Будда, облокотившись на стол и подперев рукой зарумянившуюся щечку, улыбается спящий Ли. И Вонг на прощание тоже с улыбкой протягивает нам тайваньские консервы из мяса лебеда.

Париж – предлог для того, чтобы целоваться на скамейках белой, как мел, площади Дофин, в устланных коврами мраморных парадных шестнадцатого квартала.

На улице Мартир эта сцена никого не удивляет: я на коленях, ты заслоняешь меня расстегнутым пальто. Если случится прохожий, пожалеет нас: наверное, денег не хватает на гостиничный номер. Опираясь руками о грязную стену, ты шепчешь над моей головой какую-то ерунду, а я вкушаю тебя, мой возлюбленный, всегда такой разный на вкус. Сегодня – чесночный, лекарственный.

– О, merde!^[14] Ксавье, ты не мог бы хоть иногда мыться?! Я не пользуюсь темно-красной помадой, эту кровавую полосу оставила одна из твоих одноразовых брюнеток, может, негритянка, а?!

Я вырываюсь и бегу вниз по улице Мартир к бульвару Клиши, через Пигаль, мне хочется оказаться дома, на Бланш, закрыть дверь и больше никогда тебя не видеть. Ты идешь за мной, я в слезах кричу, что не буду шлюхой б... скульптора. Ты отгоняешь мужиков, которые готовы меня утешить, и пристающих к тебе проституток. Я добегаю до площади Бланш, больше нет сил. Ты просишь меня успокоиться, предлагаешь зайти в бистро, выпить вина и – говорить по-французски, потому что ты ничего не понимаешь.

– Я тоже, я тоже, Ксавье, не понимаю. Зачем ты женился на мне, зачем, раз у тебя постоянно новые любовницы, зачем?

– Затем, что я люблю тебя, тебя одну. А впрочем, ты говорила, что Париж – лишь предлог, разве не так?

– Четыре тысячи на квартплату, четыре на еду, должно хватить, – хрипло подсчитывал Ксавье доходы Томаса и Михала. – В крайнем случае съедим лебедей Вонга. – Он вытер заложенный нос.

Михалу, как всегда, не повезло. На раскопках всем попадались великолепные скелеты римлян и галлов, и только ему достался участок с черепками и ржавыми ножами. Михал приносил на базу лом и битые горшки, тогда как другие гордо волокли мешки с античными костями. Сжалившись, начальник раскопок доверил ему одну из самых интересных могил на кладбище: странным образом, не по традиционной оси восток – запад, расположенное захоронение. К тому же тело, казалось, похоронили не в обычной позе, а с подогнутыми ногами. Преступление? Неизвестная форма погребения? В любом случае сенсация. На глазах у археологов Михал старательно расчистил останки одной ноги, затем второй и, наконец, третьей, на которой обнаружилось... копыто. Таинственный римлянин оказался козой. Склонившиеся над козьей могилой ученые не в состоянии объяснить, почему животное было погребено на кладбище, а не брошено в ров для отходов.

– Ритуал, – вынесли они хором вердикт, как всегда, когда обнаруживается что-нибудь непонятное.

Томас привез с раскопок череп женщины или юноши. Когда составляли каталог находок, оказалось, что он нигде не зарегистрирован и не относится ни к одному из найденных скелетов.

Мы стали думать, куда его пристроить.

– Может, на столе, рядом со свечкой? – предложил швейцарец.

– Mein Gott,^[15] что за кич! – поморщился Ксавье. – Не хватает только хрустального шара и черного кота. Ведьма с картами у нас уже есть. Знаешь, Томас, положи-ка лучше этот череп к себе в чемодан или под кровать.

– А может, в холодильник? – осенило Михала. – Холод консервирует, к тому же череп не будет постоянно попадаться нам на глаза.

Я согласилась с Михалом, решив, что *memento mori*,^[16] криво усмехающееся между сыром и морожеными овощами, умерит наш аппетит. В данный момент это было бы весьма кстати: неизвестно, сумеет ли Ксавье продать скульптуры.

В последнее время он занялся столярным искусством: мол, столы и стулья нужны всем, а творчество – только художникам.

Михал, отчаявшись уговорить меня погадать, решил изучать значения таро самостоятельно. Я выписала ему на большом листе бумаги возможные интерпретации арканов:

1. Фокусник – радость, ум, склонность к экспромтам, способный юноша. Перевернутая карта – неловкость, инфантильность, излишние хлопоты.
2. Папесса – терпение, интуиция, такт. Перевернутая карта – мечтательность, ханжество, невежество.
3. Императрица – помощь женщины, творческие идеи, вдохновение. Перевернутая карта – ревность, ложный путь, блуждания.
4. Император – ответственность, воля, постоянство. Перевернутая карта – отсутствие денег, жесткость, излишне суровый нрав.
5. Папа – хороший совет, согласие, доброе имя, верное решение. Перевернутая карта – догматизм, ссора, ложь.
6. Влюбленный – красота, многообразие возможностей, любовь, искусство. Перевернутая карта – неудачный выбор, неуверенность, иллюзии.
7. Колесница – шанс, успех, талант, доверие. Перевернутая карта – гордыня, поражение, разочарование, бунт.
8. Справедливость – уверенность, логика, честь. Перевернутая карта – презрение, жестокость, противоречия.
9. Отшельник – скромность, отвага, поиски, прозорливость. Перевернутая карта – мизантропия, одиночество, скупость, пустая трата времени.
10. Колесо фортуны – счастье, удача, счастливый конец. Перевернутая карта – маразм, рассеянность, преграды.
- И. Сила – власть, мощь, преодоление трудностей. Перевернутая карта – насилие, ревность, сизифов труд.
12. Повешенный – согласие, ожидание, испытание. Перевернутая карта – отказ, лень, застой.
13. Смерть – помощь, верность, благородство, неподкупность, перемены к лучшему, разгадка тайны. Перевернутая карта – бессовестность, неожиданная разлука, тщетные усилия.
14. Умеренность – возрождение дружбы, отдых, встреча. Перевернутая карта – нетерпение, пагубное влияние, отсутствие.
15. Дьявол – активность, магнетизм, удача. Перевернутая карта – опасность, бессилие.
16. Дом Божий – неожиданное событие, развязка. Перевернутая карта – страх, предостережение, проигрыш.
17. Звезды – мягкость, чуткость, добрые намерения. Перевернутая карта – разочарование, апатия, фатализм.
18. Луна – время для размышлений, надежда, гостеприимность, щедрость, воображение. Перевернутая

карта – переменчивое настроение, слабый характер, повторение прежних ошибок. 19. Солнце – талант, творчество, духовное развитие. Перевернутая карта – эгоцентризм, наглость, ограниченность. 20. Суд – известие, призвание, выздоровление. Перевернутая карта – недоразумение, обман, ложные друзья. 21. Мир – совершенство, заслуженный успех, реализация. Перевернутая карта – мнимая победа, фальшь. 22 или 0. Дурак – страсть, гений, свобода. Перевернутая карта – безумие, бегство, экстравагантность, небытие.

По вечерам Михал раскладывал таро и твердил:

– Сила: власть, мощь, преодоление трудностей. Перевернутая карта: насилие, ревность, сизифов труд. Отшельник: скромность, прозорливость, поиски. Перевернутая карта: одиночество, скупость, мизантропия.

– Заучивай, глядя в карты, – советовала я. – Думай об арканах, как о живых людях, тогда ты поймешь, что осторожность и скромность – добродетели Отшельника, а мизантропия и скупость могут оказаться его пороками. Карты таро крупнее обычных, потому что служат для медитации, а не для игры. Представь себе, что это страницы, вырванные из книги творения.

– Тора написана на свитке, а не на картах, – отозвался Томас из-за своих древнееврейских рукописей.

– Но она написана с помощью двадцати двух букв, каждая из которых соответствует одной карте таро. Тора сматывается и разматывается, то есть получается РОТА или ТАРО, как некоторые и говорят, имея в виду «Тора».

– О'кей, Шарлотта, из того, что ты говоришь, следует, что если каждой карте соответствует одна еврейская буква, то с помощью таро, как с помощью алфавита, можно выразить всё на свете.

– Всё. – Михал ткнул пальцем в залитое дождем окно напротив. – Даже то, чего нет.

– Не понимаю, о чем ты. – Томас скрылся за своими бумагами.

– Перестаньте, – взмолилась я. – Не знаю, что на вас нашло, но это не разговор, а обмен колкостями. В чем дело?

Михал вежливо удивился:

– Обмен колкостями? Разве? Я лишь пытаюсь понять, каким образом парень, который с утра до ночи читает в оригинале Зогар и

Библию, ухитряется не верить в Бога или хотя бы в «Нью эйдж». Изучай он еврейскую грамматику, я бы еще понял.

– Я пытаюсь верить, – серьезно ответил Томас.

– Верить в читаемый текст или верить тексту? – агрессивно уточнил Михал.

– А ты изучаешь Декарта и гадаешь на картах – где же твой рационализм?

– Дорогой мой Томас. – Михал постучал ручкой по столу. – Уже одна эта фраза содержит серьезные предпосылки. Во-первых, ты считаешь, что гадания нерациональны. Во-вторых, ты сделал из Декарта Папу Римского от рационализма. Как первое, так и второе твое убеждение может оказаться далеким от истины.

– Позволю себе процитировать знаменитого римского наместника: что есть истина? – ехидно улыбнулся Томас.

– Истина заключается в том, что Декарт уже интерпретирован всеми возможными способами, а нерационалистическими гаданиями я занимаюсь ради отдыха или, если тебе угодно, ради сохранения психического равновесия.

– Вот и я ради сохранения равновесия постоянно читаю о Боге, оставаясь неверующим, – объяснил довольный Томас.

– Ребята, если вы договорились, вернемся к нашему таро, – вставила я поспешно, заметив, что Михал хочет что-то добавить. – Когда я рассматриваю карты, мне кажется, что я гляжу в разбитое на крохотные осколки зеркало. Каждый отображает фрагмент моей личности. Где-то я мудра и осторожна, подобно Отшельнику, а в иной ситуации оборачиваюсь злобной обезьянкой, что скачет по Колесу фортуны, – тасовала я карты.

Михал с трудом натянул третий свитер и попытался всунуть руки в мои митенки. Томас со снисходительной улыбкой слушал ненаучные рассуждения и в конце концов спросил:

– А откуда, собственно, взялось таро?

– Из Египта. Египетские жрецы, предвидя упадок нильской цивилизации, решили спасти от забвения свои знания. У дверей храма собрались мудрейшие из них, посвященные в арканы магии, и принялись обсуждать, как передать знания будущим поколениям. Старейший жрец предложил записать египетские книги на золотых таблицах и закопать в пустыне.

«Идея замечательная, – ответили два других, – но может случиться так, что таблицы эти никогда не будут найдены. Или же их найдут, но не смогут понять и переплавят на золотые украшения».

«Лучше передать знания живому человеку, чем мертвым камням в пустыне, – сказал другой жрец. – Найдем благородного и мудрого юношу и научим его всему, что умеем сами».

Однако и эта идея показалась уязвимой: вдруг в каком-нибудь очередном поколении не найдется никого достойного хранить мудрость жрецов. Третий, самый младший жрец, предложил использовать то, что прочнее золота и передается от человека к человеку с легкостью развеиваемых ветром семян. Это человеческие пороки – и прежде всего азартные наклонности. Можно записать все знания не на драгоценных таблицах, а на клочках папируса, вырезать на кусочках дерева или кости и превратить тайные знаки в азартную игру. Видимо, это была удачная мысль, потому что таро дошло до наших дней.

– А ргоров, ^[17] который час? Уже можно включать отопление? – Пытаясь согреться, Михал притоптывал и потирал ладони.

– Четверть девятого, – ответил Томас. – До ночного тарифа на электричество еще два часа пятнадцать минут. Но ты можешь провести час сорок пять в библиотеке Бобур, там всегда тепло и душно.

– Сегодня вторник, она закрыта. Шарлотта, куда подевался Ксавье?

– Он звонил из столярной мастерской. Положи яблоки на батарею, ночью будет приятный запах.

– Столярная мастерская? Может, он дров для камина принесет? – обрадовался Михал.

– Михалик, камин не работает со времен войны, а может, революции, я точно не помню. Пойдем лучше в бистро, возьмем один кофе и к нему три ложечки.

Михал, закутанный в свитера, напоминал клубок шерсти.

– Томас, ты с нами не пойдешь? Ненадолго, давай, – уговаривал он швейцарца, который принялся раскладывать на пустом столе пачку ксерокопий.

– Я лучше посижу дома, сегодня возле института я уже один раз чуть не попал под машину, к чему искушать судьбу?

– Bravo, еще не верит, но уже суеверен, – донеслось одобрение из клубка шерсти.

– Суеверен? Вы бы знали, кто меня сбил! Слепой на велосипеде! Сначала, простукивая палочкой дорогу, он сделал мне подсечку, а потом, когда я пытался подняться и выловить из лужи разлетевшиеся ксерокопии, чуть не проехал мне по рукам.

Возвращаясь из бистро, мы сочинили литанию: Париж – святой, святой город – Париж. А на малых бусинах – станции второй линии метро: Ла Шапелль, Барб-Рошшуар, Анвер, Пигаль, Бланш, Плас де Клиши, Ром, Вийер, Монсо, Курсель, Терн, Шарль де Голь Этуаль.

В мастерской аромат яблок и тепла. Томас спит, в углу спальни огонек сигареты Ксавье. Я забралась под плед.

– Ты меня ждал?

– Двадцать окурков. – Ксавье погасил в ладони сигарету. – Двадцать один.

Если бы можно было взять цвет дождливого утра в затемненной комнате, добавить темно-синее одеяло, небритый подбородок Ксавье, его свалывшиеся черные волосы, тени под сомкнутыми веками, туда же добавить его руку, запутавшуюся в розовой простыне, звон стекла и шум в мастерской...

– Хлеб вчерашний, кофеварка засорилась, сахар кончается. – Михал помогал Томасу заваривать кофе. – Утром petit dejeuner,^[18] чтобы добраться до работы, в полдень ленч, чтобы функционировать до вечера. Вечером обед, чтобы дотянуть до ночи и заснуть.

Я потребовала завтрак в постель.

– Господа желают, чтобы поднос оставили под дверью или, как в порядочном пансионе, подали прямо в кровать?

– Не трудись, Томас, – заорал в ответ проснувшийся Ксавье. – Мадам сожрет с пола.

Они внесли поднос и уселись на постель.

– Или давайте зажжем свечи, или пусть кто-нибудь поднимет жалюзи, – предложил Ксавье, обжегшись кофе.

Томас потянулся к окну и перевернул на кровать пальму.

– Салат из пальмы, что за деликатес, – заметил Михал, разыскивая среди листьев батон.

Я помогла Томасу открыть окно и водрузить горшок на место, отряхнула ему пиджак. Михал расспрашивал Ксавье о работе в столярной мастерской.

– Я сейчас делаю стол, еще не решил, круглый или треугольный, главное – ноги, три изящных женских ноги.

– А между ними? – спросил Михал, макая черствый хлеб в кофе.

– Разумеется, столешница. – Ксавье извлек из-под матраса альбом, собираясь продемонстрировать нам эскиз.

– Вчера после полуночи звонила, – вспомнил Томас, – госпожа Габриэль Виттоп. Сказала, что придет сегодня на ужин.

– Только не это! – Ксавье закрыл лицо подушкой. – Снова эта бабища! Я ухажу, никаких ужинов. Вы уже видели эту подруженьку Шарлотты?

– Я читал ее книги. – Томас благовоспитанно сидел на краю кровати.

– Это одно и то же. Просто ходячая порнография. Однажды я вежливо спросил Габриэль, как она пишет свои книги – между нами, жуткую безвкусицу. А она погладила меня по голове, словно любящая бабуля, и ответила с ласковой улыбкой: «Собственной спермой, сынок».

Михал, лежа на ковре, чистил мандарины.

– Мне кажется, это было не вежливо, а просто глупо.

– Да ладно, Ксавье, не преувеличивай, – очнулся от раздумий Томас, – нет там никакой порнографии.

– Не-ет? – усомнился Михал, выдавливая мандариновый сок прямо себе в рот.

– На этой Земле существуют три вещи, – объяснял швейцарец, – которые, согласно Талмуду, сохранятся также в будущем мире: солнце, шабат и сексуальные отношения.

– А ты бы не мог вместо медицинских «сексуальных отношений» выразиться по-человечески: «любовь»?

– Шарлотта, не мешай. – Ксавье попытался засунуть мою голову под одеяло.

– Как вам угодно, – согласился Томас. – Так вот, в будущем мире будет солнце, похожее на наше, но более ясное. Там будет шабат, но шабат совершенный. В брэнном мире даже самый набожный еврей не соблюдает шабат во всей его святости, ведь он не в состоянии

выполнить все диктуемые Законом обряды. Земная любовь – тоже лишь несовершенное отражение любви истинной, реализующейся в совершенном сексуальном акте будущего мира.

– Ну, Томас, давай рассуждать логически. – Михал облокотился о кровать и принялся объяснять нам свои сомнения с помощью разложенной на одеяле и простыне апельсиновой кожуры. – Синее одеяло – мир сегодняшний, серая простыня – будущий.

– Розовая, – прошипела я.

– Не важно, – отмахнулся он, но все же пригляделся внимательнее. – Ну хорошо, пусть будет грязно-розовая. Маленькие кусочки кожуры на одеяле, вот эти три – солнце, шабат, любовь – сохранятся и на простыне, но увеличатся. Остальная кожура – порнография, заяц, стакан и так далее – оттуда исчезнет. Другими словами, в будущем порнографии, может, и не будет, но пока она есть. Логично, а?

– Логично, – признал Ксавье.

– Подождите, я еще не закончил. Настоящая любовь – любовь совершенная. – Томас говорил медленно, обдумывая каждое слово, словно переводил на иностранный язык, который плохо знал. – Наша земная любовь – лишь ее карикатура, то есть каждая наша любовь является порнографическим актом, извращающим чистоту и красоту сексуальных отношений в совершенном мире. Следовательно, или все мы более или менее порнографичны, или должны отказаться от этого определения и признать, что мы несовершенные любовники, ибо несовершенна наша любовь. Я закончил. Логично?

Вопрос был адресован Михалу, который нервно чистил мандарины.

– Логично, – согласился тот, – но неверно. Получается или что моя жена была порнозвездой, или что я никогда ее не любил по-настоящему и Эва правильно сделала, что меня бросила. А я люблю и любил ее не какой-то там убогой любовью, а обыкновенной, нормальной, истинной любовью, то есть самой совершенной!

Вид у Томаса, который сидел по другую сторону кровати, делался все более разочарованный.

– Я не о твоём браке. Я хотел объяснить, почему книги Габриэли не есть порнография. Она описывает несовершенную любовь, самые трагические ее случаи, потому что они наиболее далеки от

совершенных сексуальных отношений, и поэтому в ее текстах столько эротических сцен – ведь любовники пытаются достичь совершенства.

Ксавье соскочил с кровати:

– Десять часов, я опаздываю. Через пятнадцать минут мне надо быть в столярной мастерской. С Талмудом я не знаком, а с Габриэлью – да, кошмарный бабец, так что, Шарлотта, mon amour,^[19] меня к ужину не ждите.

– Мне тоже пора. – Томас собрал на поднос чашки и поднялся.

Михал бросил туда же кожуру и хлебные крошки.

– Значит, я тебе сегодня не нужен? – Он выглянул из-за двери.

– Твоя модель интересуется, выходной у нее сегодня или нет, – крикнула я в сторону шкафа, где Ксавье раскидывал вещи в поисках джинсов. Он не расслышал вопроса, поскольку в этот момент как раз протискивался между прогибавшимися под зимними пальто вешалками.

– Чего? А-а-а, Михал, мы будем лепить только в субботу.

– Вставай, Шарлотта, я выведу тебя на прогулку, – улыбнулся Михал, закрывая дверь.

Ксавье, ругаясь, обыскивал коробки под кроватью.

– Merde, salaud, putain,^[20] я должен найти эти джинсы, там в кармане блокнот с номерами телефонов.

– Небось в ванной оставил.

– Точно, я и забыл, – облегченно вздохнул Ксавье. Он сел на кровать и отогнул край одеяла. – Любимые ножки тоже – mon amour.

– Перестань, холодно, накрой.

– Вдохновения художнику пожалела? – Он легонько ущипнул меня за коленку. – Сегодня я целый день буду лепить твои ноги.

– Две мои, а третью какой-нибудь пассии: Бриджит, Жаклин, Зази.

– Ха-ха-ха, Шарлотта, тебя я бы не променял даже на трехногую пассию. – Он заботливо подоткнул мне одеяло. После чего на прощание поцеловал в лоб, укусил в нос и плюнул в рот.

Скрипнула дверь парадного: раз, другой. Михал, похоже, остался дома и уселся читать. Достану из-под ковра свою последнюю картину. Я нарисовала ее год назад, после того как мне попала польская газета с дискуссией о том, каким должен быть новый герб – в короне, без короны или вообще в ушанке. У меня как раз был свободный холст

и идея герба для поляков в стране и за границей: гибрид гусара и Матери-Польши. Раз порнографии не существует, покажу Михалу свой эскиз:



Мы отправились на прогулку. Михал, весь под впечатлением моего орла, вел меня в сторону Сите.

– Купим какого-нибудь попугая или австралийского воробья. Посмотришь птичий рынок. – Он тянул меня за руку. – Там каждый день продают птиц со всех уголков мира. На орла нам, наверное, не хватит, но можно поторговаться.

– Михал, ты с ума сошел, – пыталась я его удержать, – зачем тебе попугай?

– Чтобы ты их рисовала, у тебя же талант, Шарлотта. Смотри-ка, нам повезло, семьдесят четвертый идет почти до самого Сите. – Михал втащил меня в автобус, где мы по третьему разу прокомпостировали старые талончики.

– Отличный орел, просто замечательный, тебе надо рисовать птиц, – говорил он, усаживая меня рядом со спящим негром в растаманском берете. – Никто меня не убедит, что с коммунизмом в Польше покончил Валенса, что это все его работа, а потом уж последовали ГДР, Гавел и весь развал. Коммунизм был уничтожен здесь, в Париже. – Михал ткнул пальцем в пол автобуса. – Падение коммунизма началось в тот день, когда появился деконструктивизм. Не могут в одно и то же время существовать идеология и ее отрицание, что-то должно взять верх. Деконструктивизм демонтировал коммунизм

заодно со всеми прочими идеологиями. Понимаешь? – Он потянул меня за капюшон.

– Не очень.

– Но кто такой Деррида, ты ведь знаешь? – Михал не отпускал мой капюшон, готовый дернуть за него, словно учитель тупого ученика за ухо.

– Более или менее.

– Собственно, деконструктивизм уже не оставляет места ни для какой идеологии или содержательной теории. Однако моя теория имеет постдеконструктивистский характер. С одной стороны, она, как и деконструктивизм, отрицает возникновение какой бы то ни было новой теории, с другой – сама ею и является, то есть утверждается через отрицание себя самой.

Негр проснулся, доброжелательно взглянул на длинноволосого Михала и закурил косяк. Сидевшая напротив пожилая дама возмутилась:

– Будьте добры, погасите сигарету, мы не в метро.

– Да-да, – негр кивнул в знак того, что понял, – но это не сигарета, это joint, ^[21] угощайся, дружище. – Он подал облюбованный косяк Михалу.

– В другой раз. – Михал вернул косяк негру и потянул меня за капюшон к выходу. – О чем я говорил? Ах да, о теории, утверждающейся через отрицание, то есть о парадоксе. Парадокс – отрицание реальности. Это элемент надреальности, если он и появляется в реальности, то отрицает ее или провоцирует. Свою реальность может ощутить лишь реальность, атакованная парадоксом, тогда она из застоя существования трансформируется в агрессию бытия.

– Я не понимаю, но мне это не мешает, – призналась я, разглядывая клетки с мышами, белочками, лотки с морковкой и орхидеями.

– Да все ты понимаешь, Шарлотта, только по-своему. – Михал задумался, как бы попроще объяснить теорию парадокса. – У тебя никогда не было ощущения, что ты находишься в какой-то иной реальности?

– Такого как бы выхода из реальности? – Я не совсем понимала, что конкретно имеет в виду Михал. – Пожалуй, да – когда я занимаюсь

любовью, в экстазе. Чудесное ощущение out. [22]

– Ты гений! – Михал на радостях пнул засраную клетку с соловьями. – Парадокс есть оргазм реальности.

Мы ходили между палатками, разглядывая птиц и прицениваясь. Михалу понравились три белых попугая с радужными хохолками, потом он решил, что лучше купить одного, но побольше, сизо-черного, с красными глазами и зелеными коготками. У самой Сены мы обнаружили старых вылинявших скворцов.

– Они разговаривают? – спросила я заглядевшегося на реку продавца.

Тот не оборачиваясь, словно загипнотизированный проплывавшими в тумане парходиками, ответил, что это еще птенцы, их надо учить. Мне захотелось купить одного неоперившегося уродца.

– Четыреста франков, – ответил торговец, провожая глазами исчезающую барку.

– Слишком дорого, – торговалась я.

– Скворцы живут минимум два года, получается двести франков в год за штуку, – спокойно подсчитал тот.

– Мы еще подумаем, – попрощались мы с меланхоличным продавцом.

Михал натянул мне на глаза капюшон, обмотал шею шарфом и велел возвращаться домой:

– Никаких друзей, никаких бистро. Приготовь ужин. Подождите с Габриэлью нас, только, умоляю, не la pasta italiana, я мечтаю об обыкновенной отбивной.

От Лез Аль я доехала до Гар дю Нор, оттуда через Барб и Пигаль до Бланш. Во двореке пахло лимонами. Консьержка – португалка, как и большинство парижских консьержек, – драила тротуар и стены рисовой щеткой.

– Bonsoir, madame [23] Аззолина, как приятно пахнет ваша уборка.

– Bonsoir, bonsoir, madame. Это праздничная уборка. – Она поддержала манжеты белой блузки и прислонилась к стене.

– До праздников еще целый месяц.

– Можно подумать, вы не в Париже родились. – Она поправила шов на черном чулке. – Если наряжают елки в Лафайет возле Оперы, значит, пришла пора рождественской уборки.

Поднимаясь на пятый этаж в мастерскую, я подумала, что одна короткая фраза мадам Аззолины поведала мне о праздничных традициях парижских привратниц, а также о том, что наша консьержка вскрывает письма, прежде чем подсунуть их под дверь, иначе откуда бы ей знать, где я родилась, – наверняка подсмотрела в какой-нибудь официальной бумаге, пришедшей на мое имя.

Праздничная уборка пригодилась бы и дома. Спальня выглядит вполне прилично – достаточно пропылесосить ковер и цветы, вымыть жалюзи, навести порядок в шкафу и сменить белье. В ванной придется делать генеральную уборку: единственное, что осталось здесь чистым, это медные трубы, но ведь их сияние не под силу заглушить даже ржавчине. Кухня сверкает, за исключением покрытой слоем жира микроволновки и измазанной глиной дверцы холодильника. Зато мастерскую надо просто-таки ремонтировать. Паркет вокруг подиума грязный, на белых стенах – пятна вина, кофе, красок. Повсюду банки с высохшим гипсом, огромные окна отливают всеми оттенками серого. Ксавье просил их не трогать: покрывающая стекла двухлетняя пыль рассеивает свет и дает нежный эффект *sfumato*^[24] – словно на картинах эпохи Возрождения. Чтобы добиться подобного освещения, Леонардо да Винчи заслонял окна тончайшим шелком. Хорошо бы почистить и покрыть лаком дощатый стол. Что в мастерской убрано идеально – так это уголок Томаса. Возле его китайской ширмы – ни комков глины, ни пылинки, ни разбросанных бумаг. Как выражается Михал, Томас каждый вечер ведет героическую борьбу с гидрой хаоса. Назавтра ее голова отрастет вновь, но бесстрашный потомок гельветов и на этот раз одолеет чудовище при помощи щетки и тряпки. Под кроватью – набитый книгами чемодан. Не могу представить себе нашего гостя иначе, как в бежевых блузах, рубашках, фланелевых пиджаках. Весь такой пастельный, скромный, элегантный. Собственно, эта элегантная скромность и делает Томаса недоступным. На первый взгляд, по вечерам он с нами: рассказывает забавные истории, таскается с Михалом по музеям и библиотекам, развлекает Ксавье страстной и беспредметной болтовней – но на самом деле где-то витает. За столом сидит, словно в зале ожидания на вокзале... под кроватью упакованный чемодан, несколько любезных слов на прощание – и новая пересадка, новый город: Женева, Иерусалим, Берлин. Ни телефонных звонков, ни писем. Вероятно, у него есть друзья, о

которых мы не знаем. Иначе откуда пачка использованных телефонных карточек, которую Томас однажды выбросил в ведро? Столько можно потратить лишь на междугородные разговоры.

Глаза у Томаса не холодные, а погасшие. Они оживляются, когда, склонившись над еврейскими письменами, он находит что-нибудь удивительное или когда задумчиво улыбается не то сам себе, не то кому-то отсутствующему. Мне не нравится эта улыбка, не нравится ласковый взгляд в пространство. Тогда мне начинает казаться, что за нашим столом сидят люди, которых никто не приглашал и никто, кроме Томаса, не знает, ибо из деликатности он своих дам не представил. Ведь речь, разумеется, идет о женщинах, Томас должен им нравиться. Высок, прекрасно сложен: в альбоме Ксавье я видела несколько его набросков в обнаженном виде – что за плечи! Красивое, с правильными чертами лицо, легкая щетина, синие глаза. Он очаровал даже Мишеля, когда тот неделю назад пришел к нам с Заза. Он совершенно забыл про свою спутницу, обращался только к Томасу. Пытался выпытать, как лучше пользоваться еврейскими заклятиями. Он как раз купил книгу о каббалистических именах и печатях ангелов. Томас по своему обыкновению чуть смущенно улыбался, отвечал нехотя. Он больше рассматривал лоснящийся фрак Мишеля, его серебряные перстни и покрытые черным лаком ногти, чем магические знаки, которые тот рисовал. Ксавье потом расспрашивал Томаса, какое впечатление произвел на него Мишель:

– Демоническая личность, правда? Последний настоящий алхимик. Потрясающий парень, он лелеет в себе мрак.

– Мишель? Мрак? – удивился Томас. – Ты ошибаешься, это грязь, а не мрак.

Довольно размышлений, пора браться за работу: отнести белье в прачечную, купить что-нибудь к ужину. На прачечную и магазин – сорок минут, дома буду в пять. Габриэль, естественно, попросит салат и сыр, хотя знает, что я терпеть не могу резать чеснок, смешивать его с соусом и поливать этой смесью зелень. Ну ладно, будет ей салат. После смерти любимого пса она резко постарела. Ностальгия по прошлому и традициям:

– Как хотите, но французский ужин непременно должен завершаться салатом. Друзья мои, хорошая еда сравнима с оргией чувств, но ужин без салата – в лучшем случае оргия онанистов.

Да, Габриэль, ты права, как всегда: пусть будет ужин a la française.
[25]

В прачечной очередь. Пришлось пятнадцать минут ждать, пока стоявшая передо мной девица соблаговолит вынуть свое, давно уже сухое, белье. Вместо того чтобы бросить все трусики и маечки в одну сушку, она – по цвету – одарила своим гардеробом целых три барабана. Очередь имела возможность любоваться крутившимися за стеклом розовыми трусиками, ажурными лифчиками, черными подвязками, на которых красовались ярлычки «Кашарель», «Диор», «Шанель».

Домой я вернулась в 17.30. На столе разбросанные книги, тетради и записка: «Мы идем в кино на ночной сеанс. Развлекайтесь. Михал и Томас».

Развлекались мы замечательно. Габриэль привела Саша. Я не видела его, наверное, год – он еще больше похудел, как-то истончился. Вместо приветствия посветил мне в лицо висевшей над столом лампой и поднес к самым ресницам горящую спичку.

– Прекрасный макияж, Шарлотта. Сколько тебе, собственно, лет?

– Двадцать восемь, а тебе?

– Двадцать пять. Просто феноменальный макияж. – Саша погасил спичку, опустил лампу. – Возвращаясь к нашему разговору. Сама видишь, Габриэль, женщины не могут творить историю. Не то что не умеют, просто не хотят. Они сознательно стирают со своего лица каждый отпечаток времени. Это существа антиисторические.

– Поэтому и принято говорить об их вечной женственности. – Габриэль с уважением поглядела на принесенную мною миску с салатом.

– Почему «их»? – Саша галантно положил ей на тарелку порцию шашлыка с ананасом. – Это и твоя прелестная, зрелая женственность.

– Я избегаю антиисторической женственности. Моя грудь творит историю, – заверила его Габриэль. – Она из силикона, переживет нас всех.

– Не может быть. – Саша долил себе вина. – На ощупь не отличишь от обычной. – Он разглядывал декольте Габриэль. – Фантастика, ей-богу, фантастика.

– И она останется фантастически упругой до окончания загробной жизни. Шарлотта, салат – само совершенство. – Габриэль сложила

приборы и вытерла рот салфеткой.

Я представляла себе ее упругую силиконовую грудь среди груды истлевших костей. Саша опьянел, ему с трудом удавалось остановить взгляд на чем-либо. Глаза его то и дело возвращались к бюсту Габриэли, обрамленному лацканами пиджака и вырезом обтягивающей блузки.

– О, какой чудесный Рембрандт, – заметил он над плечом Габриэли приколотую к оконной раме репродукцию «Еврейской невесты». – Поистине художник-гуманист. Рембрандт такой... такой... – он не мог подобрать слово, – общечеловеческий.

– Да, Сашенька, Рембрандт общечеловеческий, как сифилис. – Габриэль вонзила вилку в кусочек ананаса. – На, ешь, – принялась она кормить покорно открывавшего рот Саша.

Я унесла пустые бутылки на кухню. Постояла, прислонившись к двери, – устала от беготни в магазин и прачечную, надоело ждать Ксавье. Если бы не седина, со спины Габриэль можно дать лет тридцать. У нее красивые, хотя и отмеченные старческими пятнами руки – сейчас они запихивают пьяному Саша в рот вилку, словно желая зарезать. Бледный Саша открывает и закрывает рот в полной уверенности, что получает самые лакомые кусочки. Габриэль со смехом уверяет, что это недоеденный шашлык. Тарелка пуста, вилка тоже. Саша сонно стучит зубами. Засыпает.

Габриэль закуривает и откидывается назад, облокотившись головой о стекло. Со двора доносится ежевечернее позвякивание – консьержка везет мусорные контейнеры. Снова тишина. В квартире соседей раздается мелодичное «бим-бом» старинных часов: десять, одиннадцать.

– Садист, – заметила Габриэль.

– Саша? Этот заморыш? – Меня переполняло сочувствие к спящему на стуле Сашеньке.

– При чем тут Саша, он и мухи не обидит. Маятник, маятник отстукивает мгновения. Чего ты стоишь в темной кухне. Садись. – Она указала сигаретой на соседний стул. – Где Ксавье?

– Работает.

– А поляк со швейцарцем?

– В кино.

– А ты?

– Что я?

– Ты где, ведь не здесь же. Рассеянная, молчаливая. Подала, убрала, просто горничная, ей-богу. Кто тебя так?

– Никто, – вздохнула я. – Я люблю Ксавье и боюсь, что он меня бросит.

Габриэль пожала плечами:

– Брось его первая.

– Я его брошу, а он себе кого-нибудь найдет, в результате все равно получится, что это он меня бросил.

– Детка, тебе только двадцать восемь, вся жизнь впереди, с Ксавье или без него. Взгляни на меня. – Габриэль подвинулась к лампе. – Я рассыпаюсь на отдельные морщины, из меня лезут старческие пятна, сиськи из силикона. – Она обняла абажур.

Саша проснулся и, извинившись, отправился в ванную. Пальцы Габриэль были обведены светящимся контуром, я коснулась цветных стеклышек лампы. Бережно накрыла ее ладони своими.

– Ты не старая, вокруг тебя постоянно крутятся мужики – Саша, Жан.

– Ты не поняла, Шарлотта, – Габриэль убрала руки, – я не боюсь ни старости, ни одиночества. Я – не боюсь. Это мое тело уже боится смерти. От страха перед ней оно корчится, ветшает. Я нафаршировала себя силиконом, но тело не обманешь. Вскоре начнут трястись руки, я буду пускать слюни и делать под себя. Не от старости – от панического ужаса перед смертью. – Она оттолкнула абажур, и лампа ритмично закачалась, то освещая, то погружая в тень углы мастерской. Мы глядели на этот маятник, не возобновляя прерванного разговора.

– Чем он там занимается? – забеспокоилась Габриэль. – Саша, все в порядке?!

В ответ мы услышали утвердительное:

– Угу. Только с водой что-то не то, – пожаловался Саша.

Дверь была приоткрыта, Саша, одетый, стоял на коленях в пустой ванне, пытаясь пальцем пропихнуть в сливное отверстие ананасно-мясную кашицу.

– Хотел выкупаться, – объяснил он, ковыряясь в дырке, – но вода какая-то густая, не течет.

Габриэль выудила его из ванны, пустила душ. Ругаясь, смыла остатки шашлыка.

– Мы пошли. Как хорошо, что есть машина. – Она поцеловала меня на прощание, поддерживая качающегося Саша. – Передай привет Ксавье и прочим. Ему, – она потрясла Саша, – простительно, он с утра пил со мной в городе.

Я помогла Саша надеть длинное черное пальто и отвела обнявшуюся парочку на паркинг. Видимо, уже приближался рассвет, потому что лампочки на крыльях Мулен Руж не горели. С сумерек до часа-двух ночи мельница вращается, украшенная красными лампочками. В два крылья замирают, около трех гаснет свет.

О начале дня или конце ночи – в спальне со спущенными жалюзи всегда одно и то же время суток, сероватый мрак – возвестил телефонный звонок. Трубку снял Ксавье.

– Не знаю, надо спросить Шарлотту. Это Михал, они в Ле Мазе, предлагают вместе позавтракать. Они купили французский батон и камамбер.

– Который час? – Я выбралась из-под одеяла.

– Михал говорит, одиннадцать. Идем?

– Одиннадцать. – Я все не могла проснуться. Вот уже несколько минут колокола на близлежащей Трините во славу Господню оглушали как набожных прихожан, так и атеистов. – Воскресенье. – Я наконец пришла в себя и зажгла свет. – Ле Мазе? Там же закрыто по воскресеньям.

– Михал говорит, что в виде исключения открыто, поэтому они там.

– Воскресный завтрак в Ле Мазе – это чудесно, пошли. Если ты, конечно, хочешь.

– Я ничего не хочу, мне все равно, где завтракать – в Ле Мазе или здесь.

– Чего ты не хочешь? – Я старалась быть вежливо отстраненной. – Быть со мной? Меня?

– Подожди, – прервал он. – Михал еще что-то говорит. Ага, что все бессмысленно и ему не хочется жить. Теперь он положил трубку.

– Я тоже не хочу жить, слышишь?

– Ты? А что случилось? – Ксавье сунул телефон под кровать.

– Ты не хочешь быть со мной, ты больше меня не хочешь. – Я не удержалась и заплакала.

– Детка моя, ну что ты болтаешь, я сказал, что ничего не хочу, потому что работа не идет. Я просто злюсь на самого себя. Не плачь. – Он вытер мне щеки краем пледа. – Ты похожа на маленькую растрепанную девочку, а я обожаю маленьких девочек в кружевных трусиках, я всегда их хочу, – он откинул одеяло, – как и их рыженьких пушистых медвежат.

В дверях Ле Мазе мы столкнулись с двумя музыкантами, которые тащили виолончель и барабаны. Хозяин за стойкой подал Ксавье пиво.

– За счет заведения, – предупредил он. – Давно не виделись.

– Пришел посмотреть, по какому случаю вы открыты в воскресенье.

– Мы закрываемся на рождественские каникулы, надо отработать выходные. – Он протянул мне кружку светлого пива.

– Тоже за счет заведения? – поинтересовалась я.

– За мой собственный. – Он по-парижски, четыре раза поцеловал меня. – Мы с тобой еще не поздоровались.

Из-за балюстрады на втором этаже выглянул Томас:

– Наконец-то, мы вас уже час ждем.

Еще не добравшись до лестницы, мы успели поздороваться с парой столиков знакомых и знакомых знакомых. А также послушать потрясающий саксофон Андре и оценить новый блюз Брайана – американца, играющего на гитаре и продающего в метро портреты-блюз: на голубом фоне – грустные лица в стиле маньеризма.

Сегодня Михал с Томасом вполне могли бы ему позировать – бледные, под глазами синие круги после бессонной ночи. Просидели десять часов в экспериментальном кинотеатре Латинского квартала.

– Стоит посмотреть, – зевал Михал. – Сходи, Шарлотта, это фильм Линча о таро. Начинается с тринадцатой карты – Смерти: обнаружена убитая девушка. Появляется Фокусник – молодой умный агент ФБР, он ищет преступника. Затем Дурак – безумный фанатик-убийца. Смерть принимает облик лысого добродушного великана. Между Фокусником, Дураком и Смертью – прочие карты таро: Дьявол, Ясновидящие, Повешенный. Есть и занавес, который скрывает лицо Папессы, разделяет сон и явь. В фильме он из красного бархата, благодаря нему агент ФБР Дейл Купер может беседовать с духами.

Томас не согласился с интерпретацией Михала.

– Смерть, молодой, талантливый полицейский и убийца-безумец – неперенные атрибуты каждого второго детектива. Меня больше интересует другая игра подсознания, и если детали действительно тщательно продуманы, я готов признать: Линч – гений, а «Твин Пике» – шедевр. История начинается с того, что на берегу находят тело Лауры Палмер, студентки лицея, убитой извращенцем-садистом. Со временем выясняется, что девушка была нимфоманкой. «Лаура» ассоциируется с лавровым деревом, «Палмер» – с пальмой, то есть перед нами двойная аллюзия с деревом. В своих «Метаморфозах» Овидий описывает убегающую от фавна нимфу по имени Дафна. Не желая попасть в лапы преследователя, она с помощью матери, речной богини, превращается в лавровое древо. Не знаю, удачная ли это аналогия – судьбы нимфоманки Лауры Палмер и нимфы Дафны, – но согласитесь, совпадение удивительное.

Ксавье отложил батон, которым закусывал пиво:

– Merde, я, пожалуй, брошу скульптуру и буду делать фигурки таро. Вы сочините каталог для выставки, вставьте туда истории вроде этой, одобрите Юнгом и Папусом – и мировая слава обеспечена. Я тут мучаюсь, часами возжусь с глиной, и лишь изредка удается что-нибудь продать, а мужик снял фильм-таро – и готово: люди ночь напролет сидят в кино, дискутируют, копаются в поисках неизвестно чего.

– Неплохая идея, на ней можно заработать, – заметил Михал, кроша в кофе камамбер. – Кофейный суп, очень вкусно, – похвалил он собственный кулинарный экспромт.

Не проявляя интереса к разговору, Томас внимательно слушал блюз Брайана и разглядывал зал на первом этаже. Наверх поднялся молодой тибетский монах с кожаным портфелем. Его сопровождал бритый француз в развевающихся оранжевых одеждах. Они заказали чай и погрузились в заполнение каких-то анкет.

– Отец, может, вина к чаю? Почти церковное. – Бармену удалось перекричать саксофон.

Монах в ответ улыбнулся, ожидая, пока француз переведет предложение хозяина, размахивавшего бутылкой красного вина. Поняв, о чем речь, тибетец заулыбался еще приветливее и несколько раз взмахнул ладонью в знак не то уважения, не то отказа, не то какого-то восточного благословения.

– Чем на самом деле отличается буддизм от христианства? – поинтересовался Ксавье.

– Христиане пьют вино, а буддисты вроде чет, – выдал Михал.

– Я серьезно спрашиваю.

– В чем разница между буддизмом и твоим христианством или христианством вообще? – уточнила я.

Ксавье удивленно взглянул на меня:

– Шарлотта, что за язвительный ум, наверняка влияние Михала.

– Это не мое влияние, – скромно запротестовал Михал, – а отсутствие твоего с тех пор, как ты увлекся столярными работами.

– Вот самое простое объяснение, – Томас отодвинул свою чашку, и Михал принялся крошить в нее сыр, – согласно буддизму, все всё выдумали, а согласно христианству – все всем прощают. Ясно?

– Что выдумали?

– Всё: Михала, тебя, меня, сыр, столик. Всё есть иллюзия, майя.

– Не верь. – Михалу, похоже, не терпелось поделиться своей версией буддизма. – Майя вовсе не иллюзия. Однажды я бился головой о стену – и ничего, даже следа не осталось, а когда бился разумом о майю, башка разлетелась вдребезги.

Томас снова смотрел вниз, Ксавье затянулся сигаретой.

– Вы правы, барокко могли выдумать только испанцы. Посмотрите на ту парочку в углу, под часами.

Толстая блондинка и красавец южного типа разговаривали по-испански, потягивая попеременно пиво и молоко. Перед ними на столике валялись ломаные сигареты, сигары, перевернутые чашки.

– Я бы не назвал эту смесь пива с молоком или манеру запивать чай кофе отвратительной. Я наблюдаю за ними с того момента, когда они пришли. Случайно перевернули чайник, вываляли в луже сигареты, макали шоколад в пиво – и все это с удивительно барочным обаянием.

Мы вернулись домой. Томас проверил счетчик, перевел киловатты во франки:

– Мадам и месье! За неделю мы сэкономили достаточно, чтобы сегодня позволить себе включить отопление на всю ночь.

Михал на своей подстилке ждал, пока в комнате станет тепло.

– Ксавье, хочешь, я тебе попозирую для какой-нибудь фигуры таро? – Он высунул ногу из-под пледа.

– Я лучше почитаю. – Ксавье уселся к батарее.

– Для какой карты ты хочешь позировать? – спросила я Михала.

– Все равно, могу даже изобразить Императрицу или Папессу в платке. Ради Бога, мне только теплее будет... Можно Мир и Звезду, лишь бы не уродцев с Колеса фортуны или этих, нашинкованных, с карты Смерти.

– А знаешь, Ксавье, это очень оригинальная идея – карты таро с изображением одного и того же человека.

– Шарлотта, это было бы не марсельское, а маниакально-возвеличивающее таро: Михал-ангел, Михал-дьявол, Михал одетый, Михал голый, Михал-мужчина, женщина, нечто среднее. Судя по тому, что ты рассказывала, имеет смысл рисовать только марсельское таро, во всех прочих детали варьируются, а архетип стирается.

– Для медитации измененное таро не годится, но гадать на нем можно.

Ксавье отложил книгу:

– Я не собираюсь открывать лавочку с веерами, гадальными картами и эликсирами молодости. Скульптура, рисунок должны быть истинными, то есть архетипическими.

– Это все на искусствоведческом изучают – про истину и архетипы? – Томас оторвался от листочка, на который выписывал слова.

– Нет, не изучают, художник с этим рождается.

– Дальше можешь не спрашивать, – предупредил Михал. – Я уж однажды пытался. Художник рождается с архетипом художника, на этом у Ксавье рациональные аргументы заканчиваются. Остальное он может нарисовать, вылепить, станцевать.

– Ага. – Томас вернулся к своей работе.

– Это «остальное» – вовсе не шутки. – Ксавье ногтем соскабливал воск с дощатого пола. – Передать архетип, не нарушив его собой, собственным неумением.

– Не понимаю, ты хочешь нарисовать новый вариант марсельского таро, ничего в нем не изменив? Не получится, это невозможно, – убеждала я Ксавье.

– С точки зрения рациональной невозможно, я понимаю. Нужно довериться инстинкту, должен быть какой-то способ.

– Шарлотта, как сторонний свидетель советую тебе благословить мужа в дальний путь, – сочувственно посоветовал Михал. – Он ступил на счастливую стезю иррациональности. Многие возвращаются оттуда Наполеонами, Леонардо да Винчи или самостоятельными гениями.

– Звучит, как цитата из Достоевского, – заметил Ксавье, продолжая чистить доску.

– Жизнь вообще похожа на цитату из Достоевского. – Михал выпутался из кокона пледов. – Кофе, чай? – Он соскочил с подиума на теплый пол.

– Для обеда меню в самый раз, – буркнул Томас.

– Обед будет только завтра на завтрак, холодильник пустой, – донеслось из кухни.

Вечером зашла Габриэль – искала фуляровый платок. Саша, должно быть, потерял его по дороге на стоянку. Я помню, что перед уходом закутывала ему шею. Габриэль была не в лучшем настроении. Саша простудился и заявил, что болотистый парижский климат ему вреден, а температура ниже пяти градусов равносильна смерти. Завтра он улетает на Майорку – будет лечить грипп у тетки де Кустен. Саша провел в ее дворце детство, и лишь она сумеет должным образом поправить его подорванное здоровье. Уходя, Габриэль столкнулась в дверях с Мишелем. Здороваясь, он дал нам понять, что его визит носит исключительный характер. По воскресеньям он не выходит из дому, поскольку в этот день ощущает себя пошляком. Однако ему непременно надо оправить в серебро сережки, полученные накануне от Грега и Марка, знакомых владельцев одной лондонской галереи. Украшения, которые я делала в свое время, очень ему нравились, может, я бы взялась за эту работу?

– Вот сережки. – Он протянул мне платок с двумя прозрачными кулончиками.

– Не слишком тяжелые? – Я взвесила их на ладони. – Еще пара грамм серебра, и уши у тебя вытянутся до плеч. Вылей оттуда эту мутную воду, они станут легче.

– Это не вода, это формалин. Для консервации эмбрионов.

– Эти создания внутри – эмбрионы? – Я с отвращением швырнула сережки на стол.

Ксавье понюхал их, посмотрел на свет.

– Эмбрионы чего, обезьяны? Кенгуру? – гадал он.

– Человека, – развеял его сомнения Мишель.
– И чьи же это детки? – Сережки выпали на пол из рук Ксавье.
– Что ты делаешь! – Мишель поднял украшения и проверил, целы ли они.

– Откуда эти английские сукины дети взяли человеческие эмбрионы? – размышлял вслух Ксавье.

– Можно? – Томас взглянул на сережки и передал Михалу.

– Это наверняка не дети Грега и Марка. Они очень любят друг друга, – Мишель улыбнулся, – и часто этим занимаются, но иные законы природы непреодолимы.

– Не лучше ли окрестить трупики, а затем похоронить? – Михал завернул сережки в платок.

– Или съесть. – Томас не сомневался, что Мишель воспримет его слова не иронически, а как искушение.

– Съесть? Похоронить? Разве вы не видите, что эти сережки – произведение искусства, изысканно соединяющее метафору жизни и смерти? Как можно их уничтожить?

– Послушай, Мишель. – Ксавье уже успокоился. – Носи свои сережки, мне это не мешает, но ты ошибся адресом, здесь не прозекторская.

– А ваш холодильник?

– Что наш холодильник? – не понял Ксавье.

– У вас в холодильнике лежит человеческий череп, – злорадно напомнил Мишель.

– Ну знаешь! – Ксавье вышел из себя. – Это череп Томаса, научный, это не жертва аборта.

– А откуда такая уверенность, что мои эмбрионы – жертвы аборта, может, они тоже скончались естественной смертью? Главное – идея, поэтому я хочу обогатить ее серебром, лунным элементом, напоминающим об изменяемости вещей. Скрюченный плод в форме нарождающегося месяца. Околоплодные воды, подобно океану, подчиняются приливам и отливам, фазам луны.

Мишель был готов до бесконечности рассуждать о лунной символике серебра. Заслушавшись, Ксавье внимал каждому слову, если оно было хоть как-то связано с алхимией. На меня все это не действует, я и прикасаться к этим сережкам не подумаю. Пусть ищет ювелира, которому безразлично, в чем копать. Михал делал вид, что

читает. Томас перестал раскладывать словари и, пытаясь привлечь внимание Мишеля, обаятельно улыбнулся.

– О, я вижу, Томас, ты со мной согласен, – обрадовался Мишель. – Объясни, пожалуйста, Ксавье и Шарлотте более доступно, почему серебро подходит для эмбрионов. – Похоже, Мишель решил прибегнуть к помощи швейцарца.

– Оправит тебе Шарлотта сережки или нет, это будет ее художественное решение, которое не имеет ничего общего с алхимией. Расскажи лучше, какая тебе польза от твоих познаний, сверкающих, прости за поэтическую банальность, словно драгоценный камень? – Улыбка Томаса превратилась в гримасу. – Вспомни, сброшенный на землю Люцифер освещал свой путь вниз сиявшим у него во лбу изумрудом. Знаешь, что об этом думает Великая Богиня? Что он может его себе в жопу засунуть.

– Алхимия не приемлет вульгарных слов, – с высокомерием посвященного заметил Мишель.

– Ты не понял. Аналогия, может, и вульгарная, но само слово – нет. Я просто чересчур обобщил. Немцы считают неприличным словом не «жопу», а «дырку в жопе». Честно говоря, Мишель, я полагаю, что ты не алхимик, а метафизический самогонщик. Надеюсь, ты не обиделся?

Мишель не выглядел обиженным, скорее даже довольным.

– Обиделся? – искренне удивился он. – Ты шутишь. Теперь я убедился, что ты из конкурирующей масонской ложи, какой-нибудь гельветской, дружественной Национальной Французской ложе. Мне остается лишь попрощаться. – Он кивнул Томасу, подал руку Ксавье. – Следи за тем, кого принимаешь у себя дома. – Он чмокнул меня куда-то над ухом и вышел.

– Прости, – смущенно проговорил Томас, когда стихли шаги на лестнице и скрипнула дверь парадного.

– Ничего, – успокоил его Ксавье. – Вы кое-что для себя прояснили. Честно говоря, я мало что понял.

– Я тоже, – призналась я.

– В какой-то момент я испугался, что Томас изъясняется гомосексуальными намеками, – поделился с нами Михал. – Камень в жопе и все такое. А он Мишеля разделал по-масонски. Поздравляю, маэстро. И как я раньше не догадался: безупречный образ жизни,

никаких вредных привычек, постоянный источник дохода, например, стипендия, любимый череп, кандидатская по религиозной символике. Мишель-то пронира, живо сообразил, в чем дело.

– Перестаньте изображать из меня масона. – Томас хладнокровно налил себе полную чашку чая. – Мишель – параноик, это заразно. Будь я масоном, думаете, променял бы удобненькую и уютненькую ложку на вашу промерзшую мастерскую? Мишель думает, что если человек пользуется масонским языком, то сам непременно масон. Я лучше него разбираюсь в символике именно потому, что не принадлежу ни к какому братству и могу позволить себе любые мысли и ассоциации, а не только те, что записаны в масонском уставе. Я вам кое-что покажу. Шарлотта, дай карты. – Он сел рядом со мной и разложил таро. – Иди сюда, Михал, это специально для тебя: маленькая лекция о случайности. Утром в Ле Мазе мы говорили о кинематографическом таро, теперь я расскажу о мифологическом.

У Лая и Иокасты, царя и царицы Фив (карты три и четыре), не было наследника. Они отправились к дельфийскому оракулу (вторая карта), который предрек им рождение сына-отцеубийцы. Вскоре исполнилась первая часть предсказания: в царской семье появился ребенок, которого назвали Эдип. Чтобы не дать предсказанию свершиться до конца, мальчика решили умертвить. Лай отнес сына в лес, подвесил к дереву за ногу и оставил на съедение диким зверям. Карта двенадцать – Повешенный на дереве так же, как Эдип, чье имя означает «опухшая стопа». От неминуемой смерти ребенка спасли коринфские пастухи. Эдип вырос в другой семье, но, повзрослев, захотел узнать свое предназначение. Дельфийский оракул повторил жестокое предсказание. Эдип покинул дом приемных родителей, уверенный, что таким образом избежит фатума. Он отправился в Фивы, но по дороге разогнавшаяся колесница Лая (карта семь – Властитель на колеснице) повредила ему ногу. В ярости Эдип убил царя (карта тринадцать – Смерть косой отсекает коронованную голову). У ворот Фив Эдип узнал, что овдовевшая Иокаста пообещала взять в мужья того, кто освободит жителей города от чудовища. Это Сфинкс (карта десять – Колесо фортуны со Сфинксом). Тут дословность заканчивается. Можно доказывать дальше, что таро – миф об Эдипе в форме комикса. Но меня интересует метафизика, а не фикция. – Томас сложил карты в коробочку.

Ксавье, почти лежа на столе, потребовал продолжения:

– В таро нет фигуры слепца: блуждающий Отшельник держит в руке фонарь, то есть что-то видит.

– Здесь как раз и начинается игра воображения. – Томас допил холодный чай. – Мудрец с фонарем напоминает Диогена – на вопрос, к чему освещать себе путь при дневном свете, философ отвечал: «Ищу человека». Таким образом, Отшельник с девятой карты – если предположить, что он и есть греческий мудрец, – ищет человека. Эдип дает Сфинксу правильный ответ, догадавшись, что речь идет о «Человеке». В таро соседние карты объясняют друг друга, подсказывают возможные интерпретации, словно в шараде или ребусе.

Мучимый угрызениями совести Эдип странствует по Аттике, странствует без всякой цели, подобно бродяге Дураку (карта двадцать два). В Колонос Эдипу преграждают путь стражницы ада, Эринии (карта пятнадцать). Правда, тем, кто достоин прохладиться на Елисейских Полях, эти богини с волосами-змеями оборачиваются благосклонными Евменидами (карта четырнадцать – Ангел). Поскольку Эдип невиновен, его ведут в подземное царство Евмениды. Вытканная Парками судьба свершилась. Вот счастливый Эдип в окружении четырех детей (карта двадцать один – Мир). Бык – это Исмена, чье имя переводится как «сила», она обладает силой быка. Воинственный и победоносный лев – Полиник, то есть «многочисленные победы». Орел – Этокл, ведь эта птица, летающая выше всех прочих, – хранительница ключей от небесного свода, а «Этокл» означает «верный ключ». Антигона – «до рождения» – ангел, безгрешное существо, живущее в каждом из нас, пока мы не появимся на свет.

Истинно говорю вам, – Томас поднял руки в жесте благословения, – разум блуждает также и среди закономерностей. Любой миф – греческий ли, египетский, даже событие повседневной жизни можно представить с помощью таро. Что из этого следует? Ничего. В буквальном смысле ничего, кроме подтверждения собственной эрудиции и легковёрности слушателей согласно принципу: имеющий уши да услышит, имеющий ноги да бежит. Так что, Шарлотта, бегом в кровать, – он потянул меня за косу, – у тебя глаза слипаются, уже полтретьего.

– Ладно, ладно. – Я вынула из его пальцев свою косу, которой он принялся сметать со стола пепел. – Еще одна заповедь на завтра: кто первый проснется, идет за хлебом, только честно, Михал, без обмана.

– Хочешь лишить меня утреннего удовольствия – смотреть, как ты разгуливаешь на черных шпильках?

– Послушайте-ка, модель! – Ксавье состроил рожу разъяренного шимпанзе. – Это ты здесь для того, чтобы на тебя смотрели, а не моя жена. – И на полусогнутых, волоча руками по полу, заковылял к стулу. – В логово! – Он взял мою ладонь зубами и потянул в сторону спальни. – Мне бы хотелось кое о чем тебя спросить, Томас, насчет этой ноги Эдипа... может, завтра... – Ксавье почти укусил меня.

– Лучше завтра, все устали. Спокойной ночи. – Томас помахал нам на прощание и в два прыжка опередил Михала, который, словно лунатик, брел в ванную.

Зимой Люксембургский сад открывается в девять. Замерзший красный виноград, деревья без листьев, обрисованные инеем. Фонтаны выключены, дети с голыми ногами в коротких штанишках бегают вокруг скамеек, на которых укутанные в меха матери листают «Вог», «Пари Матч», «Мадам Фигаро». По боковой аллейке проезжает шумная упряжка осликов. За ней вдогонку бросаются ребята со всего сада и собаки – те, что посмелее.

Я открываю письмо Яся. Изменившийся почерк. Фразы клонятся вниз, буквы расползаются. Точки почти сливаются с запятыми. Графолог из меня неважный, но похоже на депрессию, хроническую депрессию.

«18 XII 91. К востоку от Эльбы

Шарлотта,

вот уже которую неделю собираюсь написать тебе. Почему я до сих пор этого не сделал? Потому что печаль не напишешь словами. Хотел оттиснуть свою заплаканную морду на белом листе и послать тебе вместо всех комментариев и описаний. А ты бы небось решила, что я занялся боди-артом. Меня угнетает следующее:

1. Кончилась война. Кончилась она полвека назад, но все не до конца. Люди уезжают, мечутся от границы к

границе, меняют профессии – не для того, чтобы заработать больше, а чтобы заработать хоть что-нибудь. Все какое-то временное, словно Европа только вчера началась. Все измельчало, испоганилось. Когда я просыпаюсь и вижу, как встает над Краковом огромное зимнее солнце, мне кажется, что даже оно клонится к востоку.

2. Польша. Точка. Великая, Прекрасная. Точка. Грудастая. Заслуги у нее исторически-эротические, в нужный момент она позволила себя раздеть.

3. Думал приехать к вам на праздники, но к чему в очередной раз убеждаться, что я не могу жить ни здесь, ни там. Лучше остаться здесь и замуровать себя живьем, чтобы не тосковать без вас.

Не огорчайтесь, что нет денег: вы живете, словно в раю, там ведь тоже денег не было.

Привет всем. Ясь.

PS. Я даже не прошу, чтобы ты погадала мне на таро. На вопрос, что меня ждет, таро бы стошнило».

Через несколько дней я прочитала письмо Михалу.

– Ну и проблемы у парня, – послунил тот косяк. – Переселение народов, упадок. Ведь известно, что все кончается так, как в Риме.

– То есть?

Михал удивился моей недогадливости:

– Католической церковью, разумеется.

* * *

Томас выписал на листок еще один аргумент в пользу того, что он не масон:

«Карта XVIII – Луна. Толкование символики этой карты должно быть кристально прозрачным, словно вода, в которой живут раки. Темноту ночи освещает Луна (начинаю в стиле И-Цзинь, чтобы создать соответствующую атмосферу).

Немного истории: в Средневековье астрологов называли псами – видимо, после того, как в 1000 году не наступил предсказанный ими конец света. В Таро Карла VI 1425 года на карте Луны нарисованы два астролога, вглядывающихся в небо. В марсельском таро на их месте два воющих на Луну пса.

Как мне кажется, карта XVIII изображает Чистилище. «Оставь надежду» написано над воротами ада, погруженного в вечную тьму. В Чистилище в отличие от Ада пожираемые пламенем грешники могут надеяться на то, что наказание не вечно, ибо рассвет обещает рассеять ночной мрак. Именно этот момент зарождения света изображен в arcana^[26] XVIII, потому что если ночью видно созвездие Рака (рак в пруду), то Солнце находится в знаке Козерога, т. е. наступает момент зимнего солнцестояния – увеличения долготы дня и ожидания света.

Святой Августин в комментарии к псалму XXXVII просит Господа дать ему возможность исправиться в этой жизни, дабы избежать посмертного очищающего огня (ignis emendatori).

К обращению и покаянию призывал Иоанн Креститель, предрекавший приход Мессии. Христос родился в начале января (позже эта дата сдвинулась на 24 декабря) – в любом случае это зодиак Козерога. Праздник Рождества Иоанна Крестителя отмечают 24 июня, в день летнего солнцестояния, под знаком Рака. Теперь погруженный в воду Рак, XVIII arcana таро. Эта картинка ассоциируется со словами Иоанна Крестителя: «Я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною». Присутствие рака в аркане более или менее понятно, а сама луна с человеческим лицом? В христианской символике Христос уподобляется Солнцу, а Иоанн Креститель – отражающей солнечный свет Луне.

Евангелие от Иоанна, 1, 6–8:

*Был человек, посланный от Бога;
имя ему Иоанн.*

*Он пришел для свидетельства,
чтобы свидетельствовать о Свете,
дабы все уверовали чрез него.
Он не был свет,
но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.*

Почему я настаиваю на том, что XVIII карта – символ Чистилища, а не Ада, как принято считать? В Аду нет успокоения, адский огонь вечен. Зачем понадобилось анонимному автору таро изображать на XVIII arcanum пруд с кристально чистой водой? Мне кажется, дело вот в чем: древнее название Чистилища – «refrigerum», то есть «место охлаждения, отрезвления». Время от времени кающаяся душа получала передышку от адского пламени и могла благодаря молитвам живых зачерпнуть воды из пруда и утишить жгучую боль. Образ и «география» Чистилища в раннем христианстве не слишком отчетливы. Одно время считалось, что оно находится в Ирландии, затем – на Сицилии. По определению Тертуллиана, чистилище есть refrigerum interim,^[27] продолжающееся до самого Судного дня. Чтобы избежать путаницы понятий и случайной идентификации древних языческих культов с тщетными попытками спасения душ усопших, христианские писатели четко разграничивали обряды язычников, которые молились своим умершим, и христиан, которые молились за умерших.

Слово «чистилище» появилось довольно поздно, в XI веке. Но официально само понятие было сформулировано, а существование чистилища «утверждено» в 1274 году на Лионском Вселенском соборе.

Марсельское таро было, вероятно, создано на закате Средневековья, когда Чистилище еще ассоциировалось с refrigerum.

Что касается других элементов карты Луны: псы символизируют порог, завершение определенного жизненного этапа, воющая собака – тоску. В загробный мир греки брали с собой лепешку, дабы усмирить гнев Цербера,

пса-стражника. Обращение есть понимание ошибок прошлого – передвигающийся задом наперед рак означает здесь работу памяти, припоминание прежних ошибок. Покаяние и выражение скорби – это воющие на Луну собаки. Венера покровительствует любви, Луна – памяти. XVIII аркан не изображает Ад, безвыходное положение. Это скорее карта очищения, перехода от этапа блужданий к пониманию своих ошибок, искупления их и вступления в следующий аркан – Солнце.

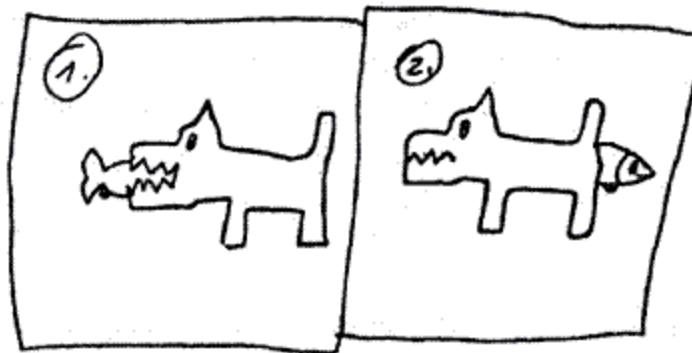
Конец.

PS. Я вас убедил?»

Приписка Ксавье: «От себя я бы добавил: первый человек на Эвересте – 1953 год, первый человек на Луне – 1969-й, первые люди в Чистилище – 1274-й».

Михал:

– Обратить? В какую сторону?



Комментарии излишни.

Шарлотта

Через неделю – Сочельник. Томас уговаривает Михала съездить в монастырь:

– Чего тебе сидеть одному в Париже?

– Я поеду с Шарлоттой и Ксавье в деревню к дяде Гастону.

– Они едут только на праздники. В Пикардии нет ничего интересного. А монастырь в горах. Мы сможем пробыть там две-три

недели. Поможешь мне провести анкетирование.

– Так ты едешь отдыхать или работать?

– И то, и другое. Мне хочется посмотреть на первый католический монастырь для женщин и мужчин, в котором возрождается иудеохристианская традиция. Об этом непременно надо написать.

– А далеко это?

– Почти в Пиренеях. Недалеко от Тулузы.

– Билет на поезд стоит пятьсот франков, для нас двоих – тысячу.

– Поедем автостопом. Если уж речь зашла о деньгах, в наше отсутствие Шарлотта с Ксавье смогут сэкономить. Ночлег и еда в монастыре бесплатные, в обмен на несложную работу в пользу общины.

– Автостопом по Франции? Здесь это не принято. До Тулузы восемьсот километров, нам и за неделю не добраться.

– Поедем через Бургундию, от монастыря к монастырю. Как настоящие паломники, ну, договорились?

Они выехали на следующее утро. Проснувшись и умывшись, Михал с рюкзаком на плече терпеливо поджидал Томаса, который старательно наглаживал рубашку, собирал в ванной полотенца, кремы, дезодоранты, а в кухне – экологически чистые контейнеры для еды.

Наш поезд отправлялся с Гар де л'Эст. Через три часа дядя Гастон встретит нас на станции в Аррасе. По дороге в Пуа мы будем восхищаться его садами, а дома, за праздничным обедом, – гусиной печенкой, лососем, икрой и, конечно, грушевой наливкой.

– Дядя, милый, шампанское рядом с вашей наливкой – просто минералка.

– Вы так считаете? – Дядя с довольным видом подбросит дров в камин, вынет из скрипящего шкафа рулетку, угостит нас сигарами. – Теперь поиграем, два года назад вы выиграли пять тысяч сантимов, я должен хоть чуть-чуть отыгратья.

Рулетка крутится, пока из кошелька дяди Гастона не упадет на стол последняя монета.

– Sacrebleu, ^[28] я снова банкрот, – просопит он добродушно.

Каждый год дядя проигрывает Ксавье пятьсот франков. Раньше он выдавал любимому племяннику на Рождество пару сотен с помощью Санта Клауса:

– Посмотри-ка, мой мальчик, что положил в чулок Санта Клаус.

Когда Ксавье исполнилось шестнадцать, Санта Клауса заменила рулетка.

Дом в Пуа дряхлеет. Отремонтированные и побеленные летом сени потрескались. Штукатурка сыплется на голову, стоит чуть-чуть хлопнуть почерневшей дверью. В гостиной, которая со дня смерти тети, то есть вот уже десять лет, отапливается только на Рождество, завелся грибок. Пахнет влажностью и лесом – от наряженной до середины елки.

– Только пташки небесные видят дерево с макушки. Люди смотрят на елку снизу, а не с потолка, – оправдывает дядя свой страх перед стремянкой. И поскорее переводит разговор на другое. – Расскажите лучше, как вы провели праздники в прошлом году.

– Шарлотта, расскажи, ты ведь готовила ужин. – Ксавье наслаждается ароматной гаванской сигарой.

Можно перестать делать вид, что я тоже затягиваюсь: курение сигар – одна из рождественских традиций дяди Гастона. Я сгребаю раскаленные угли в камине щепкой, прихлопываю искры. Гаснущее пламя освещает гостиную, его рыжий свет смешивается с обнимающим темные углы мраком. Отблески переливаются неубранных со стола приборов, наполняют замшелые бутылки.

– В прошлом году, дядя, перед самым Рождеством Ксавье подхватил грипп. Обычно он разделяется с этим делом к концу ноября. Мы надеялись, что он успеет выздороветь и мы приедем в Пуа, но за два дня до праздников температура подскочила под сорок. Чтобы его побаловать, я решила устроить польское Рождество – двенадцать блюд: вареники, заливное, борщ... Мы пригласили нашу соседку. Она из Южной Кореи, приехала на один семестр в школу рекламы. Большинство японцев и корейцев бегают по Парижу с планшетами – изучают дизайн интерьера, рекламу, швейное дело, в общем, прикладные художественные специальности, а не живопись или скульптуру. По вечерам, после занятий, наша кореянка возвращалась в пустую мастерскую и, наверное, чувствовала себя очень одиноко. По выходным мы заходили к ней, брали на выставки, в кафе. Чанг католичка, судя по ее рассказам, христиане – корейская элита, в то время как плебс исповедует буддийские суеверия. У Чанг прелестные раскосые глаза, словно у котенка. Она всегда улыбается, просто на

всякий случай – улыбка компенсирует плохое знание французского. Пригласили и Габриэль, мы вам когда-то о ней рассказывали.

– Смутно припоминаю, кажется, она пишет книги, да? О чем? Напомни, пожалуйста, Шарлотта.

– О любви, дядя.

– А, понятно, она пишет любовные романы, как же я мог забыть.

Ксавье поперхнулся дымом и, перегнувшись через подлокотник шезлонга, пытался откашляться.

– Так что нас было четверо, – продолжила я праздничные мемуары, – число блюд по числу апостолов, место для нежданного гостя... Под белой скатертью сено в память о вифлеемских яслях. За стол сели, когда вошла первая звезда. Такова польская рождественская традиция.

Мы съели двенадцать блюд, послушали музыку, пошутили. Чанг была очень тронута, она впервые проводила праздники на чужбине. Девушка почти благоговейно накладывала себе на тарелку куски карпа, вареники. Из-за стола поднялись после полуночи, Чанг поблагодарила за приглашение, несколько раз поклонилась, но все как-то не решалась уйти. Стояла на пороге, вся красная от смущения. Еще раз поклонилась и наконец, увидав, что Габриэль уже надела пальто, осмелилась шепотом попросить одну травинку сена из-под скатерти – она отвезет ее своей семье в Сеул. Они оправят ее в рамку, под стекло... сено из яслей Иисуса. Габриэль захихикала и спряталась за пудреницей, сделав вид, что поправляет макияж, Ксавье вскочил с кровати, схватил горсть сена и сунул девушке в руку: «Чанг, возьми для всего вашего прихода».

– Ай-ай-ай, разве хорошо смеяться над ближними? – Дядя погрозил Ксавье сигарой. – Не узнаю тебя, ты ведь был когда-то служкой в Нотр-Дам.

– Смеяться? Дядя, да этим сеном я, может, несу в далекую Корею веру – буддистам и прочим язычникам.

Мы остались у дяди Гастона еще на два дня. На прощание он вручил мне длинную норковую шубу тети Катрин.

– Валяется в шкафу, в конце концов моль съест. Возьми, Шарлотта, носи, Катрин бы наверняка тебя полюбила. – Дядя Гастон обнял нас и спустился со ступеньки вагона. Подождал, пока поезд

тронется. Шагая вдоль заиндеветших путей, он кричал, чтобы мы не забыли приехать весной, когда будут «одевать» груши.

Душные переходы метро, подземная жизнь обреченных на Париж. На станциях плакаты, воспевающие красоту зубной пасты или страстную любовь к роскошному дивану. Стены испещрены надписями. Надпись оптимистическая: «Сердце бьется 4200 раз в час, разве это не прекрасно?!» Внизу карандашом приписка: «А что же еще ему делать?» Надпись сардоническая: «В Париже 100 000 носителей вируса СПИД. Хочешь проверить,ходишь ли ты в их число? Посмотри в зеркало».

Надпись метафизическая – под рекламой научного труда о загадке загробной жизни: «А где доказательства существования жизни до смерти?»

В метро тоже праздник: клошар – увешанный шарами, обвязанный золотой цепью из конфетных фантиков, с нарисованной на лбу звездой, – загораживая узкий переход, собирает пожертвования на рождественскую елку.

О том, что над головой Сена, можно догадаться по вони сероводорода, а о приближении Гар дю Нор говорят желтые лужи на перронах и ручейки на путях. Писающий эрудит начертил мелком на вокзальных плитках: «Писайте всюду с бесстыдством невинных младенцев, как призывал Ланца дель Васто в XIII веке».

* * *

Воспользовавшись тем, что мы остались вдвоем, принимаю горячую ванну. Барахтаюсь в пене, добавляю кипятка – можно не беспокоиться, что в бойлере не хватит горячей воды для Томаса или Михала. Ксавье не любит купаться в холодной ванной, так что еще одним претендентом меньше. Вода сапфирового цвета. Я добавляю розового масла: отливающие фиолетовым жирные капли разбиваются о мои колени и бедра, разлетаются тысячами пузырьков и мягко оседают на пушистом холмике. Зубной щеткой я зачесываю волосы на живот.

– Ксавье, иди посмотри, – стучу я ступней в дверь.

- Что такое?
- Остатки!
- Остатки чего?! – Он не двигается с места.
- Иди сюда, узнаешь.

Стул отодвигается и дверь – слегка, чтобы пар из ванной не проник в мастерскую, – приоткрывается.

- Что у тебя тут?

Я перевернулась на живот:

– Иди сюда, дай палец. Вот, видишь, здесь у меня кончик хвоста, животный рудимент эволюции. Здесь, – я села, изогнув бедра, – рыжие водоросли, растительный рудимент эволюции. Если их сфотографировать крупным планом, не отличишь от водорослей в морской пене.

– Я бы предпочел сделать фотку твоего сдвига по фазе, долго ты еще собираешься собой любоваться?

– А что, я некрасивая? – Я щеткой зачесала «водоросли» в стороны.

– Ты водоросля. Помоги мне лучше нарезать картон для карт. – Ксавье исчезает в мастерской.

Вытертый полотенцем пучок водорослей превратился в клочок пушистого меха. Я натянула свитер и босиком вышла из ванной. Ксавье тупым ножом резал картон на прямоугольники.

- Надень хоть трусики, простудишься.

– Не хочется одеваться, я так давно не ходила по дому голой. В мастерской вечно кто-нибудь болтается.

- И все-таки советую тебе одеться, двенадцать градусов.

Я сняла свитер.

– Начальная стадия эксгибиционизма? – поинтересовался Ксавье, раскладывая картон.

Я села на стол.

– Почему, если я голая, то сразу эксгибиционизм? Эксгибиционисты демонстрируют свое тело, а не наготу. Их нагота скрывается гораздо глубже. Хочешь поискать мою? – Я ногой подвинула банку с краской.

– Если хочешь, чтобы я тебе ножом сделал pedicure,^[29] ради Бога, но на большее не рассчитывай. Шарлотта, мы занимались любовью час назад, потом ты отправилась в ванную. Я режу картон, так что если

не хочешь помочь, то хотя бы не мешай, очень тебя прошу. Мне нужно нарезать бумагу сегодня, чтобы приняться наконец за увеличение деталей. Тут важна каждая мелочь, поэтому я и хочу увеличить, чтобы все видеть, словно под микроскопом. Не мешай.

– Рисунок – гипостаз вещи, ничего больше, он не изображает ее, а гипостазирует, – возражал Михал Томасу. Отстаивая свою точку зрения, он листал записи, рисовал на обложках тетрадей схемы.

– Но ведь если бы он изображал вещь, то все равно был бы гипостазом, – на мгновение задумавшись, ответил Томас.

Ксавье с тщательностью ремесленника перерисовывал карты. В пылу спора Михал задел пузырек с тушью.

– Осторожно, зальешь мне работу. – Ксавье отодвинул баночки. – Вместо того чтобы болтать всякую ерунду о каких-то гипостазах, начали бы лучше копировать таро, дело пошло бы быстрее. Осталось еще четырнадцать карт. Достаточно набросать контур. Это очень просто, вот краски, вот образцы, вот кисточки – к вечеру закончим.

– Я не гожусь для этой мануфактуры. – Михал предусмотрительно перебазировался из-за стола на подиум.

– Когда надо что-то делать руками, я – пустое место, – честно признался Томас. – Быть может, даже немного дальтоник. – Он бросил многозначительный взгляд на цветные баночки.

– Вам просто неохота. – Ксавье развел акварель, размешал кисточкой краску. – Болтать о гипостазе вы можете часами, так нарисуйте кто-нибудь этот свой гипостаз. – Он положил перед Томасом прямоугольную картонку. – Чтобы представить себе, о чем речь.

Томас оглядел картонку с обеих сторон.

– Не стесняйся, – ободряюще сказал Ксавье, – если здесь не уместится, можешь дорисовать на обороте.

Погруженный в книгу Михал не удержался от комментария:

– Так называемый двусторонний гипостаз, один из самых тяжелых случаев.

– Тебе обязательно рисовать в белой рубашке? – поинтересовалась я у Ксавье голосом заботливой супруги, полжизни проведенной у пенного корыта.

– Я ведь подвернул рукава, – он поднял руки, – выше локтя.

Не опуская рук, он разглядывал кисточку, с которой ритмично капала зеленая тушь.

– Чушь собачья – эта ваша болтовня. – Он тщательно вытер кисть, затем сполоснул в воде, – И болтовня, и писанина. Значение имеет лишь прикосновение. Книги нужны затем, чтобы представить себе мир и всякие сценки. Например, настолько четко увидеть спальню, в которой занимается любовью молодая пара, чтобы простыня и струйка пота, стекающая по спине девушки, стали почти реальными. Сколько слов нужно, чтобы на самом деле сунуть ей руку между ног?

– Это зависит от силы убеждения, – закашлялся Томас. – Иным барышням достаточно пары слов и наличных.

– Я не имею в виду реальных барышень, я говорю о написанных. До них тебе никогда не дотронуться, напиши ты хоть тысячу страниц об облупившемся вишневом лаке на ногте большого пальца левой ноги такой воображаемой девушки. А кисточкой – пожалуйста. Можешь сам в словаре проверить: по-латински «кисть» – «penicillulus», от «penis».

Томас помял картон и беспомощно спросил:

– Шарлотта, о чем это Ксавье?

– Спроси у его девушек, я жена.

Михал соскочил с подиума:

– Послушайте, я что, в положении? Пахнет гашишем. Окна нельзя открыть?

– Исключено, – Ксавье был неумолим, – уйдет тепло. Иди пройдишь, проветришься.

– Я с тобой. – Я надела шубу и набросила поверх нее платок.

Мы наперегонки сбежали по крутой лестнице. Михал оказался у входной двери первым. Я перегнала его на улице. Мы бежали по Бланш вниз, к Трините.

– Посидим в кафе здесь или пойдем в Ле Мазе? – остановилась я на перекрестке.

– Пошли, все равно куда. – Михал взял меня за руку и замолчал.

Я шла за ним, глядя на витрины.

– Смотри, какие очаровательные мишки. – Я остановилась перед Галери Лафайет. Несколько десятков кукол и пушистых зверьков в карнавальных венецианских костюмах танцевали под музыку Вивальди. – В прошлом году костюмы были мавританские, а до этого – средневековые, – припоминала я праздничные декорации Лафайет.

– М-м-м, – рассеянно буркнул Михал.

Мы пробрались сквозь толпу возбужденных детей, клянчивших конфеты у Санта Клаусов – они шатались по Парижу еще долго после Рождества. Свернули на тихую улочку, пересекающую Бульвар дез Итальян.

– Ты мне так и не рассказал о монастыре. После возвращения вы с Томасом распаковали чемоданы и пропадали где-то целыми днями. Обещали рассказать про эти две недели, когда у вас будет побольше времени.

– Да что тут рассказывать... Томас проводил свое анкетирование, я ему помогал. Утром нас будил колокол к заутрене, в течение пяти минут пустели кельи монахов, монахинь и их детей.

Я остановилась, чтобы посмотреть, не шутит ли Михал.

– Обыкновенный экспериментальный монастырь для монахинь, монахов и избравших монашескую жизнь семей. Община подчиняется непосредственно Папе Римскому. Сначала она называлась Община Льва Иуды. Название пришлось поменять, потому что верующие думали, что монахи принадлежат к Общине Иуды Искарота. Основатель монастыря – Эфраим, обратившийся в католицизм сын раввина. Его мечта – перенести папскую кафедру в Иерусалим и объединить иудаизм с христианством. Религиозный обряд в монастыре – католический: утренняя молитва, месса, адорация. Никакой ереси, время от времени «Отче наш» или «Аве Мария» на иврите. По пятницам после Крестного Пути шабат. Его устраивают Филип – это дьякон, настоятель ордена – с женой. Они благословляют присутствующих. После окончания трапезы начинаются хасидские танцы. Монахини, монахи и гости поют, играют, кружатся в хороводе – настоящий хасидский шабат, только не в черных лапсердаках, а в белых сутанах.

В одиннадцать замок затихает. Под барочными сводами пролетают летучие мыши, из сада в кухню проникают жирные коты. У подножия монастырской горы средневековый городок Корд-сюр-Сьель, в прошлом славившийся своими ремеслами и стойкой защитой веры еретиков от крестовых походов провансальской католической власти. В городе скрывались катары после захвата Монсегюра. О тех временах напоминают таинственные знаки в подвалах и переулках Корд-сюр-Сьель.

Что же касается летучих мышей, без них в монастыре не обойтись. Иначе ночные медитации в часовне к утру плавно перетекали бы в дрему. Если монаха одолевает сон, его будят летучие мыши, пикирующие с церковных перекрытий прямо на его склонившуюся голову. В попытках уклониться от разведатак молящийся набожно дожидается рассвета.

Шарлотта, живя в Париже, можно путешествовать по разным уголкам мира – греческим, китайским, итальянским, – достаточно свернуть на соседнюю улицу или зайти в соседнее кафе. Мир экзотики – пестрый, вульгарный. В монастыре белым-бело – не потому, что горы вокруг покрыты снегом, а каменные стены замковых залов и келий выкрашены в белый цвет. Бело, потому что тихо. Я не сразу привык к этой тишине. Никто не просил меня говорить шепотом, но смешно обращаться звучным баритоном к человеку, который отвечает тебе едва слышно. Эта тишина – не только разговоры. Это еще и манера двигаться, встречаться в коридорах, на галереях: глаза опущены, чтобы не коснуться кого-нибудь взглядом, не рассеять своим присутствием его размышлений о духовных проблемах.

Совсем непросто создать устав сосуществования для нескольких десятков монахов, монахинь и семей с детьми. До поездки в Корд-сюр-Сьель я предполагал, что монастырь – обитель угрюмого лицемерия для окончательно подавленных обстоятельствами или же единственное пристанище для истинных святых. Наверняка есть свои святые и в Общине Льва Иуды, но это не мученики, кичащиеся собственным смирением и отвращением к приземленной повседневности. Я не встречал людей, которые умеют так радоваться каждому мгновению, так ценить его. Томас – вначале, по своему обыкновению, отстраненно вежливый – тоже поддался очарованию этого места. Однажды я застал его в пустой часовне молящимся. Опустившись на колени, он бормотал литанию. В полной уверенности, что никто его не видит. За день до этого он шутил, что первые христиане были также и последними.

«А как же твое неверие в веру?» – спросил я его за ужином.

Томас отломил кусок хлеба, обмакнул в вино и передал буханку сидевшему рядом монаху.

«Я тут сочинил историю, специально для тебя. Вот послушай, – прошептал он. – Жил был Ицек, бедный еврей. Однажды он перестал

верить в Бога. Пытался изо всех сил, но тщетно. Собралась община, чтобы решить, как с ним поступить. Превратить в камень? Изгнать из местечка? Но они просто оставили Ицека в покое, ведь, отняв веру, Бог и так достаточно покарал его. Шли годы, Ицек по-прежнему страдал. Но в один прекрасный день он пришел в синагогу, и случилось чудо: он ощутил запах Бога».

– Расскажи о себе, а не о Томасе, – попросила я.

– Ну что я? – Михал сгорбился. – Две недели в раю. Я молился польски, по-французски, по-еврейски, просил лишь об одном – чтобы она вернулась. Собственно, я молился ей. – Он отфутболил банку из-под кока-колы. – Сколько раз можно умирать? И за что? Знаю, знаю, Рождество не Пасха, не следует думать о смерти. Послушай: «смерть», «смерти», самое близкое по звучанию слово – «смердеть»: не успел умереть, а уже смердишь. А во французском – поэтичное, звучное «la mort», почти как «l'amour». Я не хочу умирать на польском языке, такова моя последняя воля: *je ne voudrais pas mourir dans la langue polonaise*. – Он бросил банку мне под ноги. – Ворота вон там, возле урны, пас!

Я попала в открытую дверь кафе. Спустя мгновение банка вылетела оттуда и покатила по мостовой. Михал снова забросил ее в черную дыру входа. Несколько секунд тишины – и жестянка, как и в первый раз, оказалась на тротуаре. Не то приглашение, не то предостережение. Мы вошли. За стойкой постаревшая Жюльет Греко. Пустой зал, в углу, под выцветшими рекламами пятидесятых годов, – клошар в рваной фуфайке.

– Кинь банку, – заскрипел он.

– На улице осталась. – Михал показал на дверь.

– Кинь, когда будешь выходить, только не забудь.

Мы уселись за скользкий деревянный стол. Жюльет Греко направилась к нам с бутылкой.

– Мы не заказывали вина, – сказала я без особой уверенности – уж очень решительно она поставила перед нами божоле.

– Ничего больше нет. Кофеварка с утра сломана. – Она сдвинула на другой конец стола липкие чашки и тарелки с окурками. Клошар взял зубами стакан, склонил голову набок и высосал остатки вина.

– Еще, – потребовал он.

Жюлет Греко глядела на него с жалостью:

– Допился, бедняга, до паралича, теперь только ногами болтает. Киньте ему эту банку, пусть развлекается. Сорок франков. – Она взяла деньги и вернулась за стойку. Тишину и неподвижность кафе нарушала поскрипывавшая на сквозняке дверь сортира. Она плавно приоткрывалась, на мгновение являя нашему взору заляпанный клозет, затем лениво, словно со вздохом облегчения, захлопывалась.

Михал поднял воротник куртки, сунул в рот сигарету.

– Знаешь, почему люди курят? – Он порылся в карманах. – Им кажется, что они несут свет, пусть он освещает лишь кончик их носа... горячая точка света и тепла в этом б... мире. – Спичек не было. – Мне даже курить не хочется. – Он разломил сигарету. – И не введи нас во искушение.

– Ты бросаешь курить?

– Не окурки меня искушают, но смерть. Я думал, почему так, – оказалось, все очень просто: смерть – следствие греха, а грех притягателен. Забыл тебе сказать – она меня преследовала.

– Эва? – удивилась я такой перемене: до сих пор Михал бегал за Эвой, умоляя встретиться и поговорить.

– Нет, Эва порой приходит ко мне во сне и глядит огромными глазами цвета пиццы. Меня преследовала голова, череп – тот, из вертящегося фонтана у Бобур. Я проходил там много раз, и ничего... разбрызгивая воду, кружились пластмассовые кубики, рты, шляпы, череп. А вчера я шел в библиотеку и почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернулся и увидел его – он старался не выпускать меня из виду.

– Михалик, череп в фонтане у Бобур всегда вертится, это твои фантазии.

– Но он упрямо поворачивался именно ко мне. Он следил за мной, я слышал его голос. Ты, конечно, скажешь, Шарлотта, что у меня галлюцинации... плеск воды, шум ветра – возможно, но вода в фонтане не смогла бы сказать моей голове: «Живой, значит – еще не умер».

– А череп из нашего холодильника никогда тебя не преследовал? – Я подлила Михалу вина.

– Череп Томаса в холодильнике – это наш домашний череп, он не считается, это все равно как если черный кот перебегает тебе дорогу в собственном доме. Ничейный кот на улице – другое дело.

Стакан выскользнул у клошара изо рта и упал на пол.

– Небьющийся, специально для меня купили, – похвастался он.

– Он бросает стакан, когда хочет поболтать с клиентами, – отозвалась из-за стойки Жюльет Греко, подводя черной тушью глаза.

Михал поднял стакан и поставил его перед клошаром.

– Хотите еще вина? – спросил он старика, который не сводил глаз с нашей бутылки.

– Угу, – толкнул тот в ответ стол. Оживившись, он замахал ногами и вдруг закричал по-русски: «Bystro, bystro!», торопя Михала, который наполнял небьющийся стакан.

– Где вы научились? Прекрасное произношение, – восхитился Михал.

Старик залпом выдул божоле и облизнулся:

– Пока меня не парализовало, я был русским, теперь я клошар. За это «bystro» мне наливают, потому что не понимают, что это значит, и просят объяснить. Я рассказываю, что после поражения Наполеона голодные русские солдаты шатались по Парижу и, желая побыстрее поесть и выпить, кричали официантам в кафе: «Bystro! Bystro! Еще бутылку!» Отсюда название «бистро» – быстро поесть, быстро выпить.

– Заказать вам еще? Шарлотта, у тебя есть деньги? – Михал высыпал из кармана мелочь.

Клошар, увидев, что мы не решаемся потратить на него последние франки, исполнил свой коронный номер. Прислонившись парализованным туловищем к стене и размахивая ногами, он пискляво затынул:

– Расцветали яблони и груши, один, два, три, расцветали...

Я положила на стойку монеты. На прощание Жюльет Греко взмахнула накладными ресницами. Михал закинул в кафе банку, и мы бегом успели на последний поезд метро в 0.35.

Томас закончил свою кандидатскую, перестал ходить в библиотеку и институт. Сделал в мастерской, кухне и ванной генеральную уборку. Он сунулся было со щеткой и ведром в коридор, но там столкнулся с разъяренной мадам Аззолиной.

– Это еще что за новости? Вы первый, кто недоволен тем, как я мою лестничную клетку!

Томас ретировался, уверяя консьержку, что просто в восторге от ее методов уборки и просит принять выражения почтения и восхищения ее талантами. После чего мы целую неделю спотыкались о демонстративно растроченные по всей лестнице ведра, сунутые между поручнями щетки и прочее снаряжение мадам Аззолины.

Ксавье уходил по утрам в столярную мастерскую, Михал – в Бобур. Томас помогал мне с покупками и готовкой.

– Чеснок мелко порезать, почистить две луковицы, – диктовал он, глядя в кулинарную книгу.

– Какие скучные все эти рецепты, – вздыхала я, помешивая в кастрюле бульон с сыром и вымоченными в белом вине грибами.

– Вовсе нет. – Томасу нравилось замешивать тесто для пиццы. Он лепил человечков и украшал их ломтиками помидора. – Лук, например, – мистическое растение. Подумай о тех, кто исповедует святой лук, их в Париже четыре тысячи. Основателю секты было видение бессмертной природы лука. Если каждый год подрезать зеленые отростки, жизнь лука будет вечной. То же самое произошло бы и с мужчинами, согласись они кастрировать себя, вместо того чтобы зря расходовать жизненную субстанцию. Несложная хирургическая операция, в результате которой происходит спиритуализация сперматозоидов, а кастрат обретает вечную жизнь по образу и подобию с отрезанными перьями лука. Если, конечно, он обратится в луковую религию. Какая простая и гениальная аналогия! У тебя красивые руки, Шарлотта, передай их красоту супу.

– Приготовить из них бульон? – Я бросила в кастрюлю порезанную петрушку.

– Это метафора. Красивый бульон – это вкусный бульон, красота твоих тонких рук должна алхимическим образом превратиться в аромат прозрачного супа. Можно попробовать? – Томас взял у меня нож. Положил в рот кончики моих пальцев. – Лук, петрушка, – сцеловывал он остатки фарша. – О, вот твой вкус, под ногтем.

Суп закипел, и, пытаясь его спасти, я вырвала руку. Томас старательно вытер залитую плиту.

Закурлыкал звонок.

– Wer ist das?^[30] – крикнул он, выжимая полотенце.

И смутился:

– Что я несу... Кто там? – повторил он по-французски.

Потеряв терпение, человек на лестничной клетке пнул ногой державшуюся на честном слове дверь. Томас пошел открывать.

– Ногами обязательно? Дверь выбьешь.

Михал не обращал на него внимания. Он бросился к подиуму и извлек из-под пледов тетрадь:

– Есть! Не пропала. – Тут он вспомнил о Томасе. – Я ключ потерял, думал, вы не слышите. Простите. – Он завернулся в одеяло с головой и замер. Мы с Томасом пообедали, а он продолжал сидеть неподвижно.

– Что с ним, он спит? – спросила я шепотом.

Томаса странное поведение Михала не беспокоило.

– Не мешай ему, он тренируется в могилу. Займемся лучше твоими картами. Фокусник, Смерть и Дурак. Ты удивлялась, почему ни в одной книге о таро об этом не говорится. Вероятно, потому, что эта деталь практически незаметна. Она окажется важной, если мы обратимся к довольно древней традиции, в которой повторяется этот мотив.

Смерть хромает – ничего удивительного, ведь скелет легко рассыпается на части и теряет кости. Но почему хромают на правую ногу Фокусник и Дурак? Первая и последняя карты. Начало и конец, но чего именно? Чего-то, случившегося в начале, чей конец будет в конце. Думаешь, ерунда? – Томас перестал грызть ручку. – Я объясню самыми простыми словами. Тринадцатая карта – решение загадки. Случайно это совпадает с ее значением в таро: выход из сложной ситуации, разгадка тайны. Смерть попирает ногой голову Королевы. Тебе эта картинка ничего не напоминает?

*И вражду положу между тобой и между женою,
и между семенем твоим и между семенем ее;
оно будет поражать тебя в голову,
а ты будешь жалить его в пяту.*

С того момента, как Ева вкусила яблоко, мы обречены на смерть. Смерть – последствие греха, на роде человеческом лежит печать зла, он искалеченный, хромой. Несмотря на это увечье, он пытается удержать равновесие и избежать новых падений на пути к

совершенству. Другая версия того же самого увечья, хромоты на правую ногу, содержится в апокрифах богомилов девятого века: Дьявол вылепил человека из глины, но неудачно. Через правую стопу в землю стекала жизненная энергия человека.

Есть такая еврейская книга, Сефер га-Зогар, главный текст каббалы, основа буквенно-численных комбинаций. Если каждой карте таро соответствует буква еврейского алфавита, то буква «алеф» – это Фокусник, «мем» – Смерть, «шин» – Дурак, так написано в Сефер га-Зогар. Буквы еврейского алфавита делятся на десять одинарных, семь двойных и три «материнские». К какой из этих трех групп относятся «алеф», «мем», «шин»? Это «материнские» буквы... Можно найти и другие связи между Фокусником, Дураком и Смертью. Так, у Дурака есть имя, но нет числа. Смерть обозначена числом тринадцать, но не имеет имени, вместо него черный прямоугольник.

В старинных таро только две карты назывались по-арабски: «Пагад», то есть «Хозяин счастья», другими словами, Фокусник, – и «мат», что означает «смерть».

Помнишь загадку, которую загадал Сфинкс: кто утром ходит на четырех ногах, днем – на двух и вечером – на трех? Ответ: Человек. Предположим, что Фокусник, Смерть и Дурак рассказывают нам историю хромого человека. Карты таро – это арканы, то есть посвящение в тайну, загадка и частичный ответ на нее. Сфинкс спрашивает, что это за странствующее во времени существо, таро спрашивает – кто это... Оно ассоциируется с сумерками Сатурна, властителя бренности и смерти, опирающегося на косу, которая заменяет ему покалеченную ногу. В полдень он – юноша в расцвете сил, не нуждающийся в палке Фокусник. Утром – неразумное дитя, на четвереньках убегающее в неизвестном направлении, движимое одному ему ведомыми желаниями. Глупенькое дитя, Дурак. Но Дурак идет выпрямившись, он подобно Смерти опирается на палку. Можно считать, что у него три ноги, но не четыре, как подсказывает загадка. Однако имеется и «четвертая нога» – через плечо Дурака переброшена вторая палка, которой он может пользоваться в своих безумных странствиях, превращаясь в существо о четырех ногах.

Есть еще одна интересная параллель между arcanum Дурака, соответствующим букве «шин», и связанным с этой буквой своеобразным предсказанием из Зоги. В будущем совершенном мире

буква «шин», калека с тремя «палочками», получит и четвертую, предназначенную ей после заката нашего увечного, брэнного мира.

Смерть, Дурак, Фокусник и прочее... Может, в кино сходим?

– Возьмем, к примеру, пернатого – египетского Гора. Прикальываем иероглиф вверх ногами. Извлекаем из него элемент третьей силы, и вот вам модель освобождения. – Михал прыгал на одной ноге, поворачиваясь к нам в профиль и пытаясь изобразить античную стелу.

– Неплохо, неплохо, но это форма экспрессии, а не интеллекта. – Я пытался не споткнуться о язык, потому что когда действуешь надсознанием, то в речи используешь подъязыковую форму – для равновесия. Стул, на котором я сидел в течение трех часов, распухал. Стол скрипел и стонал, мне все уже надоело, я собрался уходить. Ксавье посадил меня обратно:

– Садись, Томас. Что за экспрессия? Я не хочу экспрессию, я хочу репрессию. – Он выковыривал из остатков пирога комочки гашиша и швырял их в Михала-Гора, который из птичьего бога превратился в пронзительно скрипящую чайку. Размахивая руками, он ловил в воздухе крошки. Крупные куски Ксавье съедал сам, а маленькие кидал птице.

– Давайте проведем конкурс на лучшую экспрессию, – предложил он, собрав с тарелки крошки. – Прямо здесь, не выходя из-за стола, без лишнего реквизита. Кто найдет самое сильное средство экспрессии.

Мне показалось, что Ксавье нас провоцирует – кто сильнее съездит ему по физиономии. Михал описывал круги вокруг стола, жалобно попискивая над пустой тарелкой. Мне в голову ничего не приходило. Я то и дело проваливался в какие-то мысленные ямы. Выныривал из них, вспоминал о конкурсе. Ксавье прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться на полеты Михала, который еще немного поскрипел, затем схватил со стола тарелку и спрятался под стол, плотно занавесившись скатертью. Я сделал себе очередной косяк. Заталкивая в него смесь Мальборо и травки, я заметил руку, пытавшуюся поставить на стол тарелку. По-моему, Михал выиграл. На тарелке дымилась теплая кучка.

– Merde, – пришел в себя Ксавье.

В этот момент на лестнице раздались твои шаги. Твой муж быстро открыл окно, я сунул форму экспрессии Михала в мешок для мусора.

– Я сразу почувствовала, что вы курили.

– А что ты чувствовала, когда я целовал твои руки? – Томас гладил пальцем мою ладонь на подлокотнике кресла.

Анонсы кончились, мимо экрана прошла билетерша с конфетами на подносе. Она вышла из зала, тихо прикрыв за собой дверь. Свет погас.

Сколько можно ждать, ты не написала, когда вернешься. К счастью, перед дверью у тебя удобный коврик, а на ступеньках пушистая дорожка. С верхнего этажа спускался элегантный сосед с борзой на белом поводке. Борзая не соизволила даже меня понюхать. Буду записывать все, что происходит, *ma chère Gabrielle*.^[31] Короткий отчет с лестницы, запись твоего отсутствия – тебе нравятся такие стильные фразы. Для тебя ничего не жалко, тем более они подходят к мраморному коридору и латунной клетке лифта.

20.15, время собачьих прогулок. Из двери напротив выскочил Лабрадор и облаял меня, за что получил по носу струей воды из привязанного под мордой бочонка. Хозяйка – небрежно помахивавшая зонтиком дамочка в оранжевом жакете с золотыми пуговицам – гордо объяснила, что в резервуар с лимонным соком вмонтирован микрофон, и стоит псу громко залаять, как звуки преобразуются в электрические импульсы, которые приводят в действие брызгалку с лимонным соком. Обалдевший Лабрадор заворчал, но как только нос высох, преодолел инстинкт Павлова и громко залаял.

Габриэль, как прекрасно тебя нет в 20.35.

20.50 – ничего не происходит. Служанок отпустили по домам, хозяйева ужинают в ресторане.

Мне легче тебе написать, чем сказать. Абсурдная история. Измена? Нет, я не изменила. Быть может, я изменила Ксавье, но не себе, так что это не измена. Если кто-то касается тебя, целует, проникает внутрь – это называется измена? Где начало измены – мелкой, глубокой? Или измены нет вовсе, или один лишь взгляд – уже измена. Это вопрос для Михала, но ответ дал Томас. Я рисовала его пером, он сидел за столом, читал. Я попросила его снять рубашку. Мне

нравится скрип пера, карандаша, шорох кисти. Глядя потом на свою мазню, я слышу линии и цвета. Я взяла новое, острое перо. Казалось, я царапаю бумагу ногтями, а не стальным острием. Оно двигалось все быстрее. Словно я ногтями обводила контур плеч Томаса. Я подошла к нему, чтобы проверить, останутся ли на его коже такие же тонкие линии от моих ногтей, как на бумаге. Ему тоже захотелось проверить на ощупь, не девица ли я. Я сказала, что он спятил.

– Ты девица, – убеждал он меня, – потому что мы занимаемся любовью впервые.

Мне стало больно.

– Перестань. – Я пыталась освободиться от его руки.

– Видишь, больно, потому что ты девица.

21.15. Мне надоело ждать, я пошла домой. Позвони мне.

Шарлотта

Шел дождь со снегом. Я перепрыгивала через лужи, пряталась под карнизами. На углу Лабрадор, в полном восторге от того, что вода смывает с носа едкий лимонный сок, страстно облаивал прохожих. Совершенно мокрая, я вбежала в метро. В вагоне настоящая оранжерея – запотевшие стекла, духота. Я чуть не задремала, очнувшись, когда поезд затормозил перед крутым поворотом после Бастилии. На Бланш я столкнулась с Михалом.

– Поставь себе «дворники» на глаза, – ласково посоветовал он. – Чуть с ног меня не сбила.

– Мне холодно, – притоптывала я на месте.

– Дома тебя ждут глинтвейн и Габриэль. Сейчас вернусь, я за сигаретами.

Габриэль пометила в блокноте, когда мы с ней встречаемся, но забыла записать где. И сидела в мастерской уже два часа, уверенная, что я снова опаздываю. Просматривала свои записи, редактировала предисловие к книге о пансексуализме.

Главная идея пансексуализма: нет объектов эротически нейтральных. Каждая вещь и понятие имеют род – мужской или женский (в немецком языке также вполне выраженный средний род, скорее андрогинный, чем евнуховатый). Трудно понять, является ли мужской или женский род имманентным следствием своей формы, или же его надо трактовать функционально: предметы, которыми

пользуются в первую очередь женщины, имеют женский род, а предметы, принадлежащие мужчинам, – мужской. Вещи же нейтральные (если таковые имеются), используемые как мужчинами, так и женщинами, относятся к среднему. Род – третичный половой признак предмета. В основе вещей лежит их скрытая женственность, первичный признак. Женственность, поскольку женские половые органы находятся ближе к «глубине вещи», заключенной имманентно в понятии вещей (Ding an sich^[32]), здесь отсылка на Канта. Обратимся к греческой терминологии и произведем, например, от понятия «чистый логос» такие понятия, как «чистый х...с», «чистый п...с». Это придаст тексту более классический стиль. Но не пахнет ли здесь Гуссерлем? Сделаю вступление более *a la française*, фразы короче, язык проще: «У каждой вещи есть дырочка, почему не х...? Потому что п... глубже (глубина вещей)». Вместо греческих терминов – латынь. Стиль, самое главное – стиль, содержание прежнее. Прошел час, мы договорились на 20.00. Кто-то бежит, нет, не Шарлотта, это ханжеского вида швейцарец. Хлопнул дверью и, не поздоровавшись, начал рассказывать о соборе:

– Дорогая Габриэль, это поистине чудо – никакой ереси во время мессы. Ха-ха, любое чудо, как известно, имеет свое объяснение – сегодня просто не было проповеди. Поспешное чтение евангелия, сокращенная литургия, чтобы успеть закончить службу прежде, чем музыканты начнут настраивать инструменты к вечернему концерту, – так что священнику некогда было делиться своими размышлениями. В последнее воскресенье проповедь была о Воскресении, через три недели Пасха. Знаешь, милая Габриэль, что обещал прихожанам римско-католического собора Святой Троицы священник? Что все мы спасемся, даже самые большие грешники. Милосердие Божие в своей бесконечной доброте простит всех. А ведь это не что иное, как провозглашение *arokatastasis*,^[33] за которое Ориген еще полторы тысячи лет назад был объявлен еретиком.

Швейцарец порассуждал еще об отцах церкви, сварил мне кофе и уселся за свои книги. Он симпатичнее Ксавье, который вообще не разговаривает. Отгородился своими листами и молча работает, склонившись над рисунком.

Неужели обязательно так громко болтать, сосредоточиться же невозможно! Габриэль с этим ее хрипловатым, «интересным» голосом, учтиво поддерживающий беседу Томас... Шли бы себе в кафе и стучали там чашками сколько влезет. Карты таро крупнее обычных, чтобы можно было разглядеть рисунок. Я в три раза увеличил мешок Дурака. Что он в нем тащит? Это последняя карта, так что, возможно, в узелке на палке – колода карт. Дурак очень напоминает Смерть, словно скелет облачился в тело и одежду Дурака. Томас сказал, что это сходство символизирует смерть-инициацию, подобную ритуалу масонской присяги.

Скривившееся лицо Дурака, скривившиеся физиономии химер с Нотр-Дам – похожи. Химеры должны были одним своим видом отпугивать от готических соборов не посвященных в масонскую эзотерику. Химеры, греющие свои каменные тела под парижским солнцем. У них настоящие тела. Когда я приделывал барочным ангелочкам недостающие крылышки, то открыл, что из поврежденной головки putto^[34] торчит череп. Осторожно отбив херувиму ножку, я обнаружил среди черепков детскую косточку. Я никому об этом не сказал, как не скажу и о судебном исполнителе, который шлет мне письма от имени почтенного владельца мастерской. Что отсюда забирать – стол? Кровать, матрас? Старье, гроша ломаного не стоит. Я ответил, что ему незачем себя утруждать. Денег – заплатить за электричество и газ – у меня пока тоже нет. Две тысячи франков за какие-то раскрученные атомы – целых две тысячи франков?!

Шарлотта уверена, что Томасу удастся разгадать тайну таро, вычитать в своих манускриптах, кто и зачем нарисовал карты. Шарлотта ошибается, а Томас заблуждается. Объяснение не может быть записано в книге, оно нарисовано в арканах. Таро создал художник, поэтому он использовал картины, а не ученые слова. Я видел, когда однажды курил гашиш, агсанит Бога, нечто бесформенное, серое, согретое добром. Видение настолько отчетливое, что назвать его можно было лишь одним словом – «Бог». Но вначале мне явился образ, лишь затем – слово. Я не посмел бы нарисовать Бога, которого видел: это серое размытое пятно. Где исходящие от него счастье и тепло?

«Евреи уже давно все изобрели, – твердил мне Томас. – Запрет на изображение образа Божьего».

Ну и пусть изобрели евреи, зато я видел собственными глазами! Изображение – богохульство против полноты переживания образа Бога в сером тепле пятна. Шагал, Шагал, например. От его картин веет теплом. На полотне клейкая лирика, за картиной – незримый семисвечник, согревающий еврейскую деревушку – пейзаж из каббалы. У Рембрандта тоже свет исходит неизвестно откуда. За гениальными картинами Господь, наверное, зажигает свечи, чтобы их было лучше видно.

Отложив блокнот, Габриэль нетерпеливо постукивала каблуком по ножке мольберта.

– Томас, когда она придет? Звонила-звонила: надо, мол, увидеться, а когда я наконец нашла минутку, она опаздывает. Завтра я собираюсь в Мюнхен, вернусь через месяц.

– Если она обещала, то наверняка придет, но когда именно, Габриэль, не знаю. Спроси Ксавье.

Я ничего не знаю ни о Шарлотте, ни о себе. Мне хочется, чтобы меня оставили в покое, чтобы можно было учиться, не думая о деньгах, о ерунде. Надо поискать работу в Швейцарии. Не хочется. Лучше вернуться в Корд-сюр-Сьель – размеренный образ жизни, тишина. Михала интересуется, верующий ли я. Мне вспоминается покойная ныне бабушка, истовая протестантка, которая, принимая на работу итальянскую служанку, спросила:

– Ты небось в Бога не веришь, только в Божью Матерь.

– О нет, мадам, я верю в них обоих.

Что за вопрос – верю, не верю... Я буду жить так, словно верю, согласно императивам Декарта, на радость Михалу. Декартова этика сиюминутна – поиск истины занятие трудоемкое, нередко приводящее к саморазрушению. Не выделяйся же из окружения, дабы никто не прочитал твоих мыслей и не попытался отвлечь тебя силой или, что еще хуже, тоскливой банальностью.

В Корд я буду изучать иудеохристианскую эзотерику, там огромная библиотека, можно ездить в Израиль. Никакого вмешательства в мою работу. Никаких плановых статей, книг, научной карьеры. Покой. Если через год-два послушничества окажется, что я не рожден для монашеской жизни, вернусь в университет. Шарлотта считает – я просто бегу от нее в Корд.

«Что-что, а заниматься любовью ты умеешь, ведь Бог – это любовь. Поезжай, чего ты ждешь! Va, fan culo,^[35] – добавляет она «литургически»: итальянский ассоциируется у нее с латынью. – Ты не обязан сидеть с нами, любезно разъясняя таро. Я думала, ты делаешь это ради меня, а не из вежливости – гость, мол, должен уважать хобби хозяев».

Шарлотта, я пишу комментарии к таро, потому что мне легко писать. То, что вас интересует, меня развлекает. Я не обладаю наблюдательностью Ксавье, который доказал, что итальянское таро XVI века, называемое таро Мантеньи, нарисовал Микеланджело. Гипотеза относительно его авторства выдвигалась и раньше, но это были лишь догадки. Ксавье же нашел на одной из карт этого таро подпись Микеланджело Буонаротти. Подпись постольку убедительную, поскольку проставленную бессознательно. В таро Мантеньи складки девичьего платья (карта Силы) образуют на левой груди рисунок человеческого черепа. Подобную форму склоненного черепа с темными глазницами имеет скрытая тяжелым платьем левая грудь Богоматери в «Пьете» Микеланджело. Почему женская грудь ассоциируется с черепом? Сходство формы, согласен, но Ксавье нашел более убедительное объяснение. В сознании Буонаротти, который ребенком потерял мать, женственность связывалась со смертью. Грудь, символ жизни, уподобляемый сосуду с молоком, имел для него также и противоположное значение: череп, сосуд смерти.

Ксавье заметил и другую деталь: II и XXI карты марсельского таро нарисованы таким образом, что изображенные на них фигуры выходят за черную рамку, «кадр» агсапит. Ни в одном другом таро нет ничего подобного – Ксавье целый месяц рылся в альбомах по искусству Средневековья, Возрождения, барокко. Везде солидные рамы, и ни одна живописная фигура их не переступает.

Думаю, объяснение следует искать в другом месте. Вторая карта марсельского таро, Папесса, соответствует букве «бет», а XXI, Мир, – букве «тав». Многие еврейские слова начинаются с «бет» и заканчиваются «тав», но лишь одно из них является особым, самым важным, лежащим в основе сотворения мира. «Берешит», то есть «вначале», слово, которому в каббале посвящено немало размышлений. Автор таро, видимо, знал, что все буквы Торы написаны обычно, кроме первой буквы первого слова. «Бет», с которой

начинается «берешит», – крупнее остальных букв Пятикнижия. Вторая буква еврейского алфавита – «бет» (Папесса) и «тав» – последняя (Мир), другими словами, от сотворения мира до его неминуемого конца. Но таро – круг, мир возродится, созданный заново созидательным «бет». Возродится, замкнутый в круговом цикле, пройдя через созидающий и смертоносный огонь. Гераклит символически представил эту животворящую энергию, из которой соткан мир, в виде огня. Огонь, свет, жизнь. Каждый цикл, закончится космическим пожаром, уничтожающим, но и очищающим *espirosis*. Уничтожение этого лучшего из миров и его возрождение, вечный круг возвращений, в которые верили Гераклит, Ницше и многие другие, записаны в таро. Первая карта, Фокусник, буква «алеф» – и предыдущая карта (0), Дурак, буква «шин» – составляют на иврите слово «огонь».

Я думал, что когда не смогу уже больше терпеть, то покончу с собой. Однако для этого необходимо желание, огромная воля – раздобыть таблетки или бритву, подойти к окну. Самоубийство требует подготовки, времени, а стало быть – будущего. Есть нечто худшее, чем самоубийство, безнадежное отчаяние, словно оцепенение во времени, в соленых слезах жены Лота.

Ксавье не хотел рисовать серое пятно Бога, а я не хочу Богу молиться. Как можно молиться ему, если Он есть страдание, а я страдаю? Чтобы понимать боль, нужно ее почувствовать, а не наблюдать. Наблюдение – лишь сочувствие. Бог требует участия в страдании, то есть сущности Бога, а не жалости: «Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе». Нужно пережить эту боль внутри себя. Тогда не останется места ни для чего другого, кроме страдания и Его лица, искаженного болью. И иметь мужество встретить Его лицом к лицу, а не лицом к святому, ностальгическому образку. Посмотреть друг другу в глаза или узреть глазницы пустоты.

– «Голуаз» без фильтра, пожалуйста.

Зеркало над стойкой запотело, помутнело. Обратный путь наверх, на Бланш. Дождь, ветер, апрельская погода. Куртка протерлась, ботинки промокают. Самоубийство, самоубийство, это не проблема. Христос совершил самоубийство, только чужими руками. Свои

собственные он дал прибить к кресту – мол, не его в том вина. Что за ерунду я выдумываю... но что можно думать о смерти, настоящей, не нарисованной, как в таро? Смерть и Дурак хромают на правую ногу.

Шарлотта, не буду нарушать ваши игры в решение эзотерических загадок историей о правой ноге Декарта. В ночь с 10 на 11 ноября 1619 года ему приснился сон, первый из трех, после которых он сформулировал принципы рациональной философии. В ту ночь, во сне, на философа навалилась такая слабость, что он едва мог продвигаться по улице. Чтобы не упасть – вдруг налетел сильный ветер, – продвигался согнувшись, держась за стены и прихрамывая. Правой стороной тела овладела странная немощь, не дававшая выпрямиться. Декарт с удивлением глядел на других людей. Несмотря на ураган, они двигались уверенно, прямо, твердо ступая обеими ногами и не хватаясь за стены домов.

У Габриэли склероз, она забывает, где назначила встречу. Томас уедет и забудет обо мне – тоже своего рода склероз. Михал занят только собой, гуляет в одиночестве или сидит, забравшись под плед, забыв обо всем на свете, кроме сигарет. Ксавье неприкасаем. Раньше он впадал в ярость, когда его отвлекали от рисования карт, теперь просто не реагирует. То увеличивает, то уменьшает свое таро, пишет с его помощью дневник. Каждую ночь рисует одну вымышленную карту от себя, символизирующую прошедший день, уходящую ночь. Забросил все свои обязанности – счета, налоги, стопку документов, которые нужно регулярно заполнять, высылать, платить, чтобы насытить парижских чиновников. Под кроватью обнаружили старые письма, даже не вскрытые, среди них – просроченный счет за электричество. К счастью, я успела оплатить его прежде, чем нам отключили свет. Напоминания, предупреждения, наконец, самое последнее предупреждение судебного исполнителя, требующего квартплаты, затем его неожиданный визит. Я отдала норковую шубу и пятьсот франков. Он ушел, но вдруг снова вернется? Я рисую возле Бобур портреты по восемьдесят франков. Михал иногда приносит откуда-то деньги. Кто кому платит и за что? Ксавье Михалу за позирование, Михал нам за угол для ночлега. Мы сдаем Томасу квартиру, он дает раз в две недели чек на тысячу пятьсот франков, к тому же покупает еду.

– Габриэль только что ушла. – Томас паковал чемодан. – Она ждала два часа. – Швейцарец сосредоточенно складывал полотенца. – Ты очень бледная, что случилось?

– Не знаю, каждый месяц такое кровотечение, может, у меня там рана? – И я закрылась в ванной. Отвернула медный кран. Посмотрела в зеркало – зубы чистые. Закрыла воду и побрела в спальню.

Пришел мокрый Михал. Не снимая куртки, не вынимая изо рта влажной сигареты, уселся за стол и принялся рассматривать покрытую разными оттенками серого палитру Ксавье.

– Приглашаю вас завтра утром в Ле Мазе. – Томас закончил увязывать пачки с книгами.

– Завтра я хочу выспаться, а после обеда провожу тебя на вокзал, – сонно сказал Михал.

– Шарлотта, ты ложишься? – удивился Томас. – Не посидишь еще с нами? Я приду пожелать тебе спокойной ночи.

– Спокойной ночи. – Я нырнула в мягкую постель, словно в бассейн с сапфировой, нагретой солнцем водой.

Мы просидели в Ле Мазе час. На прощание Ксавье подарил Томасу специально для него нарисованную карту таро. Серо-синий фон, посередине красная полоска.

– Это твой архетип, – объяснял он. – Симметрия, ты симметричен, находишься посреди всего, что тебя окружает.

– Я симметричен? Относительно чего?

– Себя, нас. Помнишь, ты рассказывал историю о драконе и ангеле, которые друг с другом сражаются, но также друг друга и охраняют? Эта красная черта – рана дракона или огненный меч ангела.

– Этот багряный цвет и в самом деле напоминает мне шрам.

– И правильно, Шарлотта, симметрия зарубцевалась, из нее показалась жизнь – рана и смерть – подсыхающий шрам. – Глаза у Ксавье блестели. Он сунул трясущиеся руки в карманы. – Ты, Томас,ходишь в монастырь. Глядя на эту карту, вспоминай, что ты симметричен по отношению к себе, к Богу, к Его образу, подобию и тени.

Томас вложил карту в блокнот с адресами.

– Жизнь, смерть, переходящая симметрия, – перечислял он. – Знаете, что значит «мазе»?

– Кафе, пассаж от улицы Сент-Андре дез Ар до бульвара Сен-Жермен. Что еще? – вспоминала я.

– По-арабски, по-еврейски слово «мот», «мат» означает «смерть». «Мазе» – значит «мертвый».

– Хочешь сказать, что прощаешься с нами навсегда? – Меня нервировала невозмутимость Томаса, напротив которого сидел донельзя взвинченный Ксавье.

– Вовсе нет, приезжайте ко мне. В монастыре есть гостевые комнаты, я буду вам очень рад.

Ксавье пошел заказать еще пива.

– Ты, святой, начинаешь новую жизнь. Бывшая любовница с мужем должны навещать тебя в монастыре. Неплохая шутка, я бы с удовольствием съездила тебе по морде.

– Я не начинаю, Шарлотта, новую жизнь, я заканчиваю старую. Пощечина стала бы окончательным завершением моего пребывания среди вас. Пощечина – хорошее начало сцены в фильме.

Я поставила свой стакан, расплескав пену.

В Ле Мазе вошел Брайан.

– Мы к вам! – крикнул он, помогая Ксавье нести бутылки. – Один стаканчик – и пойду играть. – Он положил на стул гитару.

– Без пятнадцати двенадцать, я побежала в Бобур. – Я допила пиво. – Сейчас начнут подходить туристы. – Я встала и взяла со стола папку с бумагой.

Томас встал, несколько раз поцеловал меня и на мгновение прижал к себе:

– Спасибо за все.

– Ксавье, я буду дома в восемь, – помахала я им на прощание.

Перед Бобур открыл свою лавочку «Оркестр Банана»: негр в желтой строительной каске, который колотит палкой по развешенным на проволоке бутылкам или раздавленному банану, громко выкрикивая:

– Лучший на свете «Оркестр Банана» – это я!

Вокруг аплодирует толпа зевак, неистовствующая от восторга, когда для разнообразия негр бьет не по бутылке, а себя по каске. Сегодня «Оркестр Банана» надел бумажный колпак, вроде ку-клукс-клановского капюшона, а на плечи накинул белое с желтым полотенце.

Рассуждая с достойным видом о любви, братстве, мире во всем мире, он поливал любопытных водой из бутылки.

– Не бегите от меня, эта вода святая! – кричал негр.

Затем настал черед главной части импровизированной службы – сбора денег:

– Несколько франков, доллар для Папы Римского, пожалуйста, – обходил он толпу, позвякивая монетами на подносе.

Я сидела, бесцельно разглядывая «Оркестр Банана». Кто-то потянул меня за косу.

– Габриэль? Откуда ты здесь?

– Томас объяснил, где тебя найти. Как работа?

– Нарисовала одного японца, «Оркестр Банана» заканчивает свое шоу, сейчас появятся клиенты.

Мы болтали, обходя молчанием несостоявшуюся встречу. У Габриэли был такой вид, словно ей хотелось взять карандаш и нарисовать мой портрет. Заглядевшись, она прерывала разговор в середине фразы, а потом с трудом припоминала, о чем шла речь.

– Пойдем ко мне, – даже не предложила, а скорее приказала она.

Сидя на тахте в стиле «модерн», я листала журналы. Габриэль медленно пересекла холл, рядом, скользя по паркету, топал пекинес Чау. Хозяйка закрыла у него перед носом стеклянную дверь гостиной. Чау недовольно тявкнул и побежал в одну из комнат.

– Выпей. – Она подала мне стакан чего-то желтого и густого.

– Ликер? – пригубила я.

– Это поможет, выпей.

Мы болтали, грызли крохотные печеньица. Я чувствовала себя все более странно. Казалось, я распадаюсь на две половины, до самой разделительной линии мозга. Одна часть меня засыпала, другая сосредоточилась в какой-то болезненной точке, никак не находившей себе места. Сонная половина видела Габриэль, сливавшуюся с портретами в позолоченных рамах за ее спиной. Тени деревьев за окном оживляли лица на картинах. Губы Габриэли шевелились одной и той же размытой светотенью.

– Полчаса. – Она взглянула на часы. Взяла со стола папку с бумагами. – Письмо от Томаса, ах нет, извини, это твое вчерашнее

письмо ко мне, – перебирала она конверты. – Вот, – подала она мне сложенный листок.

Я читала в полусне.

«Шарлотта, я беру Ксавье с собой. Он поживет немного в Корд. Будет помогать рисовать иконы. Поживи пока с Габриэлью. Пять-шесть месяцев ты будешь получать чеки из Швейцарии (это старая стипендия). Я уверен, ты справишься, будь сильной (ты такая и есть). Я позвоню тебе из Корд.

Томас».

– «Позвоню из Корд», – повторила я. – Зачем?

– Вернувшись в мастерскую, Томас и Ксавье нашли Михала. Мертвым.

– Как это мертвым? Утром он был жив.

– Пока вы сидели в Ле Мазе, он сунул голову в микроволновку. Несколько секунд – и конец, мозг сварен, белок глаз свернулся. Дальше рассказывать?

Михал, микроволновка.

– Это я нашла печку.

– Ну разумеется, это ты виновата, да еще электростанция, которая не отключила сегодня до полудня свет. Похоронами в Польше займется его жена. Тебе надо отдохнуть. Мы поедем на месяц в Германию. Томас говорил еще... говорил... дай-ка вспомнить.

– Габриэль, Томас знал, что Михал умирает. Он сказал: «мазе» значит «мертвый». Он сказал об этом именно сегодня. Это было тогда, когда Михал засовывал голову в печку. – Слезы текли у меня только из одного глаза, второй пытался проснуться.

– Шарлотта, не устраивай истерику. – Габриэль налила мне еще вонючего ликера. – Будь умницей. Томас просил тебе сказать... он не успел написать. Нет, не помню.

notes

Примечания

1

Что случилось? (фр.)

2

свидание (*фр.*).

3

человек советский (лат.).

4

Район Лодзи. – *Примеч. пер.*

Пер. А.К. Гаврилова. – *Примеч. пер.*

6

мне наплевать на *(фр.)*.

7

сосуществование противоположностей (*лат.*).

Мыслю – следовательно, существую (*лат.*).

9

Добрый день (фр.).

10

макароны по-итальянски (*ит.*).

Прекрасно (*ит.*).

Вот (*φρ.*).

Материальный (*фр.*).

14

дерьмо! (фр.)

Боже мой (нем.).

помни о смерти (*лат.*).

Кстати (фр.).

завтрак (*фр.*).

МОЯ ЛЮБОВЬ (фр.).

Деръмо, зараза, б...ъ (*фр.*).

21

косяк (англ.).

Здесь: запредельности (англ.).

Добрый вечер, мадам (*фр.*).

Термин, заимствованный из итальянского языка: туманность, неуловимость очертаний, манера окутывать контуры легким туманом; способ подчеркнуть рельефность и глубину перспективы. – *Примеч. пер*

по-французски (фр.).

аркан (*лат.*).

временный, промежуточный (*ит.*).

Боже (*фр.*).

педикюр (фр.).

30

Кто там? (нем.)

моя дорогая Габриэль (фр.).

Вещь в себе (нем.).

восстановление, возвращение в прежнее состояние (*греч.*).

Живописное или скульптурное изображение обнаженного ребенка: ангела или амура. – *Примеч. пер.*

Пошел к чертовой матери (*ит.*).